

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

*С. Еремеева*

**БРОНЗОВЫЙ ВЕК  
РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ:  
ПАМЯТНИКИ ПИСАТЕЛЯМ В РАМКАХ  
ПРАКТИКИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ  
КОММЕМОРАЦИИ**

Препринт WP6/2009/04  
Серия WP6

Гуманитарные исследования

Москва  
Государственный университет – Высшая школа экономики  
2009

Е 70 Еремеева С. **Бронзовый век российской словесности: памятники писателям в рамках практики монументальной коммеморации:** Препринт WP6/2009/04. — М.: Изд. дом Государственного университета — Высшей школы экономики, 2009. — 52 с.

Участие общества в формировании коллективной памяти в России XIX века нашло отражение в практике монументальной коммеморации: по инициативе «с мест» начинают появляться памятники новым героям — не государственным, а культурным деятелям. Они становятся символами национальной гордости и идентичности. Для России того времени это, вполне естественно, писатели. Заимствованная практика адаптируется отечественной культурой и начинает создавать собственную традицию. Власть, не желающая делиться прерогативой обладания прошлым, останавливает процесс, и свидетельством ему на полвека остаются лишь несколько памятников конца 20-х — начала 30-х годов XIX века в Архангельске, Симбирске и Казани. Только в 1880 году открытие памятника Пушкину в Москве, осознанное общественным мнением как демонстрация национального самосознания, легитимирует право общества на использование этой практики памяти.

УДК 930.85  
ББК 63.3(2)6-7

Svetlana Eremeyeva. **The bronze age of Russian literature: monuments to writers in the framework of monumental commemoration:** Working Paper WP6/2009/04. Moscow: State University — Higher School of Economics, 2009. — 52 p. (in Russian).

Society's participation in forming collective memory in Russia in the XIX century had an effect on monumental commemoration: initiated by the locals, monuments to "new heroes" of the time — writers, not statesmen — had been appearing. They became symbols of national pride and identity. This practice had been adopted by our native culture which then created its own tradition. The authorities reluctant to share their prerogative to possess the past stopped this process. Some evidence of it could only be found in Archangelsk, Simbirsk and Kazan in late twenties — early thirties of the XIX century in Russia. With the inauguration of the monument to Pushkin in 1880, seen by the public opinion as a demonstration of national consciousness, the society's right to use this practice of memory had been finally legitimated.

Препринты Государственного университета — Высшей школы экономики размещаются по адресу: <http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx>

© Еремеева С., 2009  
© Оформление. Издательский дом  
Государственного университета —  
Высшей школы экономики, 2009

Краткую историю и философию скульптурных памятников в европейской культуре внятно изложил М. Дворжак<sup>1</sup>. Он считал, что, даже оставляя за скобками столь важные для культуры Передней Азии задачи монументального прославления властителей, в искусстве пластики люди всегда воплощали свой образ идеального. Для греков этим представлениям соответствовали герои, победители олимпийских игр, государственные деятели, ученые и поэты. В Риме их сменили чиновники высшего государственного аппарата и предводители армии, логично оказавшиеся, в конце концов, в самом прямом смысле этого слова на коне. Традиция имела начало и конец: в VI в. был создан конный памятник остготскому королю Теодориху в Равенне (позже перенесенный в Аахен по приказу Карла Великого), и это, похоже, был последний подобный монумент. Слава земная отошла на второй план: телесное превосходство стало презираться, власть начала рассматриваться как орудие Господней воли, человек оказывался инструментом в руках Бога, а памятниками Его славы стали церкви.

Человеку, не смирившемуся с отказом от тщеславной потребности перешагнуть века, на долгое время остается возможность доносит свой образ до потомков лишь через надгробные памятники, изображения донаторов в алтарях и статуях в семейных капеллах. Память о конкретной человеческой жизни становится более личной, но интенция выхода этой памяти в общественное поле путем увековечения в долговременном материале в европейской культуре потенциально сохраняется<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Подробнее см.: Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения: в 2 т. М.: Искусство, 1978. Т. 1. С. 92–97.

<sup>2</sup> «Мысль о том, что это делается из благочестия, во славу божью, но не ради славы земной, позволила вскоре уделять все большее место элементам светских воспоминаний — и вследствие этого начало исподволь развиваться искусство памятника, который значительно сильнее подчеркивал соотносительность прославляемого и оплакиваемого с земной жизнью, скорее его мирское значение, чем его отношение к потустороннему миру, благодаря чему локальная и сюжетная взаимосвязь со священным церковным единством ослабевала все более. Так, например, — укажем лишь на результат этого развития — надгробные памятники веронских тиранов стоят уже не в церкви, но возле нее, мемориальные статуи отделены от саркофагов и, будучи

История памятников как общественных монументов вновь начинается с памятника Гаттамелате в Падуе работы Донателло<sup>3</sup>. Памятник «выходит» из церкви: разрывается не только пространственное, но и внутреннее единство: Богу — Богово. В этой истории важна не только форма, но и содержание, не только как это сделано, но и кто изображен. Кто герой своего времени, готовый выйти на площадь? «Пятнистая кошка», наемник, сын булочника, не брезговавший в своей карьере никакими средствами, венцом карьеры которого стал пост главнокомандующего войсками Венецианской Республики, знаменует собой новую ориентацию духовных интересов человека того времени — значимость активного отношения к жизни, суверенность мышления и воли.

У общественного монумента помимо эстетической есть еще две функции — памяти и идеала: их соотношение исторически изменчиво. Памятник Гаттамелате восстанавливал роль памятника как средства материализации идеалов<sup>4</sup>.

Итак, в европейской культуре история скульптуры начиналась дважды — в античности и во времена Возрождения.

Сложный для восприятия способ выражения («Задача скульптора не есть имитация действительности... скульптура прежде всего об-

---

конными статуями, наделены всеми характерными чертами светского рыцарства. До полного разделения гробниц и статуй и уничтожения связи между статуей и церковью оставался лишь один шаг» (*Дворжак М.* Указ. соч. С. 94.)

<sup>3</sup> «Именно в эпоху Возрождения памятник начинает отделяться от стены, становится независимым от архитектуры, устремляется на середину площади. Основные этапы эволюции таковы: конная статуя Гаттамелаты уже отделилась от стены церкви, но движется параллельно фасаду; конная статуя Каллеони стоит перпендикулярно к фасаду; статую Марка Аврелия Микельанджело помещает в центре Капитолийской площади» (*Bunnet Б. Р.* Введение в историческое изучение искусства. М.: Изобраз. искусство, 1985. С. 141).

<sup>4</sup> «Если в античных статуях монументализировалось прекрасное тело или воспоминание о духовном значении, то здесь ставилась цель создания фигуры идеальной не только в телесном отношении и не только памятника духовной деятельности, но, так сказать, идеальной духовной фигуры, отражения определенной настроенности и душевного своеобразия, возвышенных до уровня всезначимости, как в готических статуях, с той только разницей, что здесь увековечены не христианские добродетели, а духовные свойства земной жизни». И дальше — о современности и актуальности этого опыта: «и потому они в той же мере не абсолютны, что и античный идеал телесного совершенства: не единственное непреходящее мерило, но лишь одна из комбинаций духовных свойств, временно рассматриваемых как идеал и долженствующий позднее уступить свое место другим» (*Дворжак М.* Указ. соч. С. 96) .

ращается к воле и интеллекту зрителя и гораздо меньше к его чувствам и эмоциям. Скульптура должна быть «реальней», чем действительность, и вместе с тем «вне» действительности<sup>5</sup>) не всегда был понятен и соответственно необходим и популярен даже там, где существовала традиция восприятия (понимающий зритель формировался одновременно с художественной практикой).

Для русской культуры скульптура не являлась органическим способом выражения (традиции замечательной деревянной скульптуры маргинальны и локальны), что определяло, с одной стороны, невосприимчивость к символической стороне такого способа воплощения идеалов и идей, с другой — повышенную значимость самого факта существования скульптурных композиций, когда они появлялись в местном ландшафте.

Условность аллегорических изображений оказывалась поначалу вовсе за порогом восприятия; самый яркий пример — поставленные в 20-х годах XVII века англичанином Христофором Галловеем в нишах Спасской башни «болваны», которых царским указом одели в однорядки «англицкого сукна разного цвета». Не важно, было ли это сделано для прикрытия наготы или чтобы придать им вид живых людей, важно то, что таким образом по тем или иным соображениям им пытались придать конвенциональный вид, делающий возможным их восприятие, и притом нивелировали их «скульптурную природу». Об этом мы знаем мало, статуи погибли в пожаре 1654 года, но вся история уже следующего XVIII века свидетельствует, что импортированная скульптура приживалась плохо, несмотря на то что традиция прививалась энергией и волей Петра I.

Скульптура ввозилась из Западной Европы, но вместе с конкретными изображениями импортировалась и сама «память жанра» — идеи идеала и поминания имплицитно содержались в любом монументе. Но поскольку это была «чужая память», то воспринята могла быть лишь идея идеала.

Бартоломео Карло Растрелли, приглашенный лично императором, единственный на тот момент профессиональный скульптор в России, создал первый в русском искусстве конный монумент — статую Петра (заказ 1716 года), для которой искали деньги и место поч-

---

<sup>5</sup> *Bunnet Б. Р.* Указ. соч. С. 108.

ти сто лет, отлили ее уже после смерти мастера, а установили перед Инженерным замком в Петербурге и вовсе в 1800 году.

Впрочем, городское пространство российских городов только в XIX веке стало потенциально готово к «приему» памятников — стали формироваться площади. Указ Екатерины «О сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов по каждой губернии особо», который предусматривал обязательные площади в новой планировке старых городов, был издан в 1763 году, но разработанные Комиссией строений генпланы для провинции были реализованы в основном (и то не полностью) только после Отечественной войны 1812 года. Исключением была Тверь, перестроенная после пожара 1763 года, там, кстати, и появился первый городской памятник-obelisk в честь посещения города Екатериной. Отдельная история — Петербург, где площади — свободное пространство, которое должно связывать между собой улицы, — образовались ранее самих домов. Это еще протоплощади с аморфными границами и отсутствующим окончательным архитектурным оформлением (формирование Дворцовой площади шло с 1753 по 1834 г.). Правда, и в этом городе долго не знали, куда пристроить растреллиевский памятник Петру, но по «насыщенности» скульптурой в XIX веке Северную столицу нельзя сопоставить ни с каким из других русских городов (один из аргументов 1880 года при выборе места для памятника Пушкину: в Петербурге и так монументов много).

Для финансирования немногочисленной монументальной скульптуры, оказавшейся в общественном пространстве, долгое время не существовало никаких других источников, кроме государственного заказа. Создавались только редкие шедевры, все классицистические, с аллюзиями на античность<sup>6</sup>. Памятник Петру I Э. Фальконе (1782) — царь в свободном плаще и лавровом венке, на коне, попирающем змею. Памятник Петру перед Инженерным замком работы Б. Растрелли ориентирован на памятник Марку Аврелию со всеми выте-

<sup>6</sup> Первые появившиеся памятники были архитектурными (obeliski, стелы и т.д.), они могли быть напоминанием об общезначимом событии, но существовали в частном пространстве царских и дворянских усадеб: первый — Морская колонна в Царском селе (1771). Первым городским памятником в России стал obelisk на главной площади в Твери (1778), так что ко дню открытия первого российского скульптурного общественного монумента в империи насчитывалось уже около дюжины памятных знаков.

кающими отсюда атрибутами (1800). Памятник Суворову на Марсовом поле М. Козловского (1801) представляет прикрывающего жертвенник полководца в латах и шлеме.

Скульптурные монументы в России и в начале XIX века появлялись редко, практика их возведения не была распространенной. Следующие герои — Минин и Пожарский — были увековечены в 1818 году. Легенда об этом памятнике как созданном на народные деньги представляется сомнительной. Инициатива исходила от императора. Описывая процесс формирования мифа Смутного времени как момента возникновения российской государственности<sup>7</sup>, в рамках которого если не возник, то приобрел жизнеспособность проект памятника Минину и Пожарскому, А. Зорин замечает: «Необходимость в патетических жестах ощущалась тем острее, что чуждое народное единство выглядело менее всего гарантированным»<sup>8</sup>. Поэтому сбор средств на такое непонятное дело, как создание общественного символа сконструированной идее, было, скорее, не столько реальным делом, сколько именно жестом. Но этот памятник (в соответствии со всем вышесказанным) был первым, который с помощью словесного мифа и ритуалов попытались ввести в пространство общей памяти. Чтобы сделать его если не понятным, то имеющим отношение к российской жизни, героев слегка переодели. Первоначально они представлялись, как водится, в античных одеждах, но в последнем варианте античность нарядов умили: хитон Минина представляет собой компромисс с народной рубахой, на барельефе античные одежды женщин дополнены кокошниками, а шлем и щит Пожарского отмечены национальными чертами.

Постепенно нечастые, как и прежде, памятники расширяют свой «репертуар». Каждый памятник — отдельный случай и с определенной точки зрения случайность.

Следующий случай, казалось бы, мог стать началом новой истории в практике коммеморации. В 1828 году был открыт памятник Ришелье в Одессе — первый памятник гражданскому лицу, а не им-

<sup>7</sup> Подробнее см.: Зорин А. Кормя двуглавого орла... // Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 159–186.

<sup>8</sup> Зорин А. Указ. соч. С. 164.

ператорской особе или военачальнику<sup>9</sup>. Похоже, это был и первый памятник в России, на который действительно деньги были собраны по местной инициативе. Однако практика эта не получила дальнейшего развития — она осталась событием местного значения.

Памятники и в первой трети XIX века здесь не слишком понимали и принимали. Уникальный материал для реконструкции рецепции первого скульптурного памятника России дает поэма А. С. Пушкина «Медный всадник». Для поэта связь между историческим Петром и монументом проблематична и неоднозначна, отношение к этим двум фигурам строится по-разному. Можно спорить о том, как относился поэт к самому Петру, но его отношение к монументу выражено вполне явно. Памятник появляется в окружении пустоты, немоты, ревушей стихии, отделенный непроходимой границей от всего человеческого. Намертво прикрепившееся к памятнику после выхода поэмы название «Медный всадник» показывает, что весь этот круг коннотаций отвечал общим представлениям<sup>10</sup>.

В XIX веке скульптура в России существует все же скорее как декоративная, а не социальная практика: насыщены скульптурой парки, в городском пространстве создаются монументальные ансамбли — Исаакиевский собор в Петербурге или храм Христа Спасителя в Москве. Но и список общественных монументов постепенно расширяется. Россия покрывается памятниками военным победам. Но она не была настолько милитаризованной страной, чтобы числить свои заслуги исключительно по военному ведомству. Параллельно такому ряду памятников начал формироваться другой — определяемый через типологическую общность своих героев и общие черты истории создания. Эта общность ощущалась и современниками — при каждом следующем факте открытия делались ссылки на прецеденты этого ряда, т.е. традицией эта общность кажется не только в ретроспективе. Речь идет о памятниках гражданским лицам, условно

<sup>9</sup> Первый в послепланетном искусстве городской портретный памятник гражданскому лицу в Европе — статуя Эразма в Роттердаме, поставленная в 1622 году.

<sup>10</sup> Поэма была опубликована только после смерти Пушкина в исправленном Жуковским варианте. В свое время рукопись не была пропущена высочайшей цензурой — самим Николаем I. Из 9 требуемых поправок 8 были связаны именно с описанием памятника (из них 3 раза подчеркнуто определение «кумир» и один раз — «горделивый истукан»). Подробнее см.: *Зенгер Т. (Цявловская Т. Г.) Николай I — редактор Пушкина // Литературное наследство. Вып. 16–18. М.: Журнально-газетное объединение, 1934. С. 513–536.*

говоря, учителям. Для России XIX века ими оказываются писатели — даже те фигуры, которые нам представляются не совсем подходящими под это определение, в момент создания памятника декларировались именно как писатели, точнее, как люди Слова и Языка. Этим памятников немного, но, похоже, продуктивную культурную практику создают именно они: Ломоносов в Архангельске (1832), Карамзин в Симбирске (1845), Державин в Казани (1847), Жуковский в Поречье (1853), Крылов в Петербурге (1855), Кольцов в Воронеже (1868), Пушкин в Москве (1880).

Именно памятники писателям не только выстроили практику монументальной коммеморации как общезначимую традицию, но и превратили скульптурный монумент в место памяти, что явили собой Пушкинские торжества 1880 года.

## Россия XIX века: культурные герои

За каждым из памятников своя история возникновения и существования в общественном пространстве. Насколько она своя и насколько она повторяется от случая к случаю? Сравнение, казалось бы, формальных параметров структуры событий может дать материал для выявления значимых моментов происходящего. Предметом интереса в данном случае оказываются история создания и определения места для памятника; ритуал открытия, констатирующий смысл и цель происходящего; по возможности фиксация восприятия памятника спустя некоторое время после его появления.

Первым опытом в означенном ряду был памятник М. В. Ломоносову в Архангельске, сооруженный И. Мартосом на собранные по подписке деньги и открытый в 1832 году.

Движение за сооружение памятника началось в 1825 году. По всей стране был предпринят сбор средств, поддержанный прессой, помещавшей, однако, заметки, как правило, в информационной части, в конце журнальной книжки (в рубрики «Смесь», «Современные летописи»). В конце концов, «ревнуя славе Ломоносова», в деле поучаствовали и Императорская Российская академия (1 тыс. рублей), и сам император Николай Павлович (5 тыс. рублей). 3345 рублей пожертвовал граф Д. И. Хвостов, 2 тыс. рублей — граф С. Р. Воронцов, предок которого поставил мраморный памятник над могилой Ломо-



носова, 1 тыс. рублей — С. А. Раевская. Судя по сообщениям о пожертвованиях, в сборе средств принимали участие и купцы, и Архангельское мещанское общество (правда, как всегда в российском контексте, нельзя понять, связано это с гражданским или с общинным сознанием и привычкой жертвовать на дело, объявленное богоугодным). Во всяком случае, дело позиционировалось как общественное — модель памятника обсуждалась в столице и вызывала всеобщее одобрение, а рисунок с алебастровой модели был выпущен в продажу. В конце концов, собрано было более 53 тыс. рублей.

Памятник должен был быть поставлен на обширной городской площади, но в это дело неожиданно вмешалась монаршая воля. Лично изучив карту Архангельска, император указал место памятнику — место неудобное во всех отношениях: низкое, топкое и малозаметное — памятник был плохо виден и трудно достигаем с центрального Троицкого проспекта. Известно, что на этом болоте монумент сильно осел за первые четыре года, и, возможно, поэтому пришлось надстраивать гранитную колонну пьедестала в 1838 году. В 1867 году памятник был перенесен на первоначально предназначавшееся ему место.

Анализ риторики, сопутствующей процессу создания и открытия памятника, показывает, что Ломоносов позиционируется как писатель, стоявший у истоков просвещения России, а необходимость сооружения памятника аргументируется нашим ответом чужеземцам и обращением к потомству (к будущему).

Менее однозначен (лишь нащупывается) комплекс представлений о том, кто воздвигает памятник и что он значит для современности. Трогательна попытка найти аргумент в пользу «вещественного» памятника как необходимого именно иностранцам: мы, с нашим духом в груди, мол, и так все понимаем. Дальше слова начинают путаться. Что все-таки помимо этого заставляет возводить памятник? Долг? Честь и слава? Просвещенность? Благодарность? Благоговение перед памятью? В поисках неявного ответа перебираются слова: «слава России», «слава Отечества» и, наконец, синтез: «просвещенные сыны Отечества».

Появившаяся спустя более полувека (уже после открытия памятника Пушкину в Москве) публикация в «Историческом вестнике»<sup>11</sup>

<sup>11</sup> См.: *Ермилов Н.* История сооружения памятника Ломоносову в Архангельске // *Исторический вестник.* 1889. № 4. С. 174–189.

показывала, что понимание происшедшего изменилось, хотя рассказывалась фактически та же история. В статье 1889 года история сооружения памятника Ломоносову будет рассматриваться как «патриотическое мероприятие» — таким переносом акцентов констатируется иная оптика восприятия, возможная лишь после пушкинских торжеств 1880 года и невозможная в 20-х годах. Для позитивного патриотизма, не исходящего из посылки «утереть нос иностранцам», причем у них же позаимствованным способом, нужен другой уровень гражданского самосознания. Аргумент «иностранцев» не просто исчез — традиция возведения памятников поэтам оказывается отечественной. Сильнее акцентируется мысль об обращении к потомству (оно объявляется основным адресатом). Рядом с аргументом просвещения появляется аргумент образования. Довод о частной инициативе сомнению не подвергается.

Сценарий праздника открытия написал архангельский преосвященный Георгий (Ящуржинский). Автор, принадлежащий к духовному сословию, оказался перед непростой задачей: разработанного церемониала за отсутствием прецедентов не было и нужно было примирить возведение бронзового истукана (Ломоносов представлен полуголым мускулистым мужем, задрапированным в плащ, с крылатым голым гением у ног) с церковными представлениями. Предполагалось, что праздник начнется соборным архиерейским служением в кафедральном соборе, выход к памятнику будет сопровождаться исполнением певчими оды Ломоносова «Хвала Всевышнему Владыке», а речи у памятника будут произноситься на устроенном амвоне. Дальше искали компромиссы: «На руке Ломоносова, которою держит арфу, привесить икону Михаила Архангела такой величины, чтобы гений, подающий лиру, был прикрыт оною, или прежде привесить пелену прилично, которая бы прикрыла гения, а на ней икону./.../ Амвон можно на сей случай позаимствовать из которой либо церкви; на нем или столик поставлен будет, на котором должны лежать все сочинения Ломоносова, физические и химические инструменты; или, буде сего учинить не можно, то налой церковный, или и то, и другое совместить»<sup>12</sup>.

Епископ сочинил и торжественное завершение действия, когда всем сестрам раздавалось по серьгам. «По окончании произнесения всех

<sup>12</sup> Там же. С. 184.

сочинений певчие запоют: «Тебе, Бога, хвалим» и музыка с певчими: «Боже, храни царя». Затем лития за упокой Михаила и вечная память и, наконец, многолетствие: благоверному правительствующему синклиту, военноподполковникам, усердствовавшим к сооружению памятника, статскому советнику Михаилу Васильевичу Ломоносову, живущему в памяти ученых соотечичей, и всем участвующим в торжестве сооружения, водружения и открытия оного памятника многая лета. Во время пения многая лета архиерей и монашествующие разоблачаются из мантий и с миром и радостью расходятся восвояси». Автор даже позволил себе пометить: «Хорошо было бы, если бы сие торжество можно было отсрочить к темной ночи; тогда бы сословия города Архангельска могли бы ознаменовать торжество сие, которое им делает честь, иллюминацією; тогда икону с пеленою снять, а к простертой руке прикрепить портрет государя и покрыть сзади пеленою прилично с бантами и пуклями, вроде балдахины»<sup>13</sup>.

Это был идеальный план, фактическая церемония была более сдержанной, но принципиально не отличалась.

Сохранилось описание Архангельска, увиденного иностранцем в конце 30-х годов XIX века. «Прекрасный город с населением около 20 000, очень благоприятно расположенный, но несколько растянутый, обещает стать еще более значительным. По праву, думаю, мне, он назван царем Александром, во время его поездки 1819 года, маленьким Петербургом. Помимо адмиралтейства, губернского собрания, многочисленных церквей, суда и базара замечателен превосходный старый замок, возведенный, как сообщает надпись у подножия одной из башен, в 1699 году. В ужасающего вида здании из оштукатуренного камня, превратившегося, к несчастью, ныне в руины, еще видна комната, в которой жил Петр Великий. В соборе хранится деревянный крест, искусно изготовленный этим великим человеком собственноручно в память о чудесном спасении в кораблекрушении на Белом море. Главную площадь города украшает бронзовая статуя Ломоносова, известного русского поэта, родившегося в крестьянской семье в Холмогорах близ Архангельска»<sup>14</sup>. Памятник не

<sup>13</sup> Там же. С. 185.

<sup>14</sup> «Es ist eine herrliche Stadt von ungefähr 20 000 Einwohnern, sehr vortheilhaft gelegen, aber ein wenig lang gedehnt; sie verspricht noch viel bedeutender zu werden. Mit Recht, dünkt mir, nannte sie Kaiser Alexander, auf seiner Reise im Jahre 1819, sein kleines Petersburg. Außer der Admiralität, dem Gouvernements Pallaste, mehreren Kirchen, dem

потряс воображения привычного к монументам француза, он отмечен последним в ряду достопримечательностей, но при этом площадь, на которой он стоит, традиционно определяется как главная.

Спустя 70 лет после открытия и русский путешественник видит лишь привычную и несимпатичную картину: «Здесь же... стоит памятник, воздвигнутый одному из замечательнейших личностей не только Архангельского края, но и всей России — Михаилу Васильевичу Ломоносову, преобразователю нашего родного языка, замечательному ученому и поэту своего времени. /.../ Стоящая в тоге фигура Ломоносова, величиной в три аршина и два вершка, мало внушительна, фигура же гения, подносящего лиру, значительно меньше и вышла вовсе неудачной... /Решетка/ мала и неизящна, без нее памятник, пожалуй, выглядел бы лучше»<sup>15</sup>. Провинциальный памятник в провинциальном городе — дело в начале XX века уже привычное.

Инициатива сохранения памяти Н. М. Карамзина в Симбирске исходила от местного дворянства. Процедура создания памятников еще не была разработана — инициаторы собрали за два дня более 6 тыс. рублей, образовали комитет и стали просто по вдохновению строить планы, каким должен быть памятник. Решили: будет публичная библиотека с бюстом Карамзина. Поддерживающему идею губернатору удалось направить энергию в законное русло — 38 симбирских дворян подписали бумагу, которую и пустили по инстанциям. Разрешение было получено быстро, объявлена подписка по всей России, и симбирское дворянство, казалось бы, все с большими и большими основаниями продолжало мечтать о своей библиотеке — и участок отвели, и комплекс зданий спроектировали. Но возникшие разногласия среди самого дворянства (похоже, совсем по другому

Tribunale, dem Bazar, bemerkt man vorzüglich das alte Schloß das, wie eine am Fuße eines der Thürme befindliche Inschrift berichtet, 1669 erbautet ist. Man sieht noch die Stube die Peter der Große, in diesem ungeheuren, aus Mauersteinen erbauten Gebäude, das unglücklicherweise jetzt in Ruinen zerfällt, bewohnte. In der Hauptkirche findet man noch das holzerne Kreuz, welches der große Mann eigenhändig mit einer Art, zur Erinnerung an seine denkwürdige Rettung aus dem, auf dem weißen Meere erlittenen Schiffbruche, verfertigte. Den Hauptplatz der Stadt ziert eine Bronzestatue von Lomonosoff, des berühmten russischen Dichters, aus einer Bauernfamilie in Kholmogora nahe bei Archangel gebürtig» (Robert E. Brife aus dem hohen Norden und dem innern von Russland, geschrieben auf einer Reise in den Jahren 1838 und 1839 nebst Beilagen die französisch-scandinavische Expedition nach Spitzbergen betreffend. Hamburg, 1840. S. 53–54).

<sup>15</sup> Шперк Фр. Ф. Странички из моих скитаний по белу свету. Архангельск, его прошлое и настоящее. Архангельск: Б. изд., 1903. С. 19.

поводу, памятник Карамзину был лишь аргументом в споре) привели к тому, что две местные партии стали отстаивать два различных проекта в Петербурге: первоначальный — общественной библиотеки и альтернативный — «учебного заведения для воспитания и образования юношества». У центральной же власти появился свой ответ на все вопросы — будет только монумент.

Энергия местных сил теперь была направлена на поиск достойного места для памятника. После обсуждения нескольких вариантов остановились на лучшем. 22 августа 1836 года Николай I побывал в Симбирске и дал свои указания относительно расположения памятника (место это прежде уже было отвергнуто по причине его неустройства): предстояло устроить новую площадь на границе центрального района города.

Среди пожертвованных на памятник сумм не было таких крупных вкладов, какие встречались при сборе денег на памятник Ломоносову, но было гораздо больше дворянских пожертвований в несколько сот рублей. Царь и его семья деньгами в деле не поучаствовали, но Николай I отдал распоряжение об отпуске из казны 550 пудов меди, потребной на отливку монумента. Каким будет памятник, местные жители узнали тогда, когда он был уже доставлен в город — вопрос о внешнем облике решался на самом высоком уровне. Композиция оказалась нетривиальной: муза истории Клио на высоком постаменте (правой рукой оперлась на скрижаль, в левой держит опущенную трубу), под ее ногами, в нише, бюст Карамзина в римской тоге, по бокам пьедестала — аллегорические барельефы с Карамзиным и членами царской фамилии, опять-таки одетыми на античный манер. По сравнению с моделью скульптора изменилась и надпись на постаменте — вместо «Н. М. Карамзину, словесности и истории великие услуги оказавшему» теперь значилось «Н. М. Карамзину, историку Российского государства повелением императора Николая I-го 1844 года». Спустя несколько десятков лет про инициаторов этой истории уже никто и не вспоминал, и журналисты и путеводители указывали на царя как единственного и естественного вдохновителя этой истории. Участник журналистского десанта «Казанского биржевого листка», впервые в рамках этой акции в 1888 году посетивший город, возмущался: «Но вот украшение Симбирска! Памятник историку Карамзину с надписью, извещающей, что монумент воздвигнут по приказанию императора Николая I... Памятник величайшему историку

России, воздвигнутый в родном его городе только по *приказанию!* Поверят ли этому за границей? И уж нет ли тут аллегии? Памятник представляет музу Клио, горестно склонившуюся над бюстом историка и поэта!..»<sup>16</sup> (Отметим здесь невольную рудиментарную апелляцию к авторитету иностранного мнения, которую к этому времени из риторики открытия памятников уже постарались изгнать.)

23 августа 1845 года торжества начались службой в кафедральном соборе. Последовала заупокойная литургия, потом панихида, затем все отправились к памятнику, где преосвященный произнес краткую молитву и окропил постамент кругом святой водой. Было провозглашено многолетие Государю Императору и всему Августейшему дому, затем — «вечная память историографу Николаю Михайловичу Карамзину» и многие лета симбирскому дворянству и всем почитающим память великого писателя. Обратившись к бюсту Карамзина, архиепископ Феодотий произнес заключительное слово, а местный поэт Д. П. Ознобишин прочел свое стихотворение по поводу всего происходящего. Затем в зале гимназии перед избранным обществом М. П. Погодин в течение двух часов читал свое «Историческое похвальное слово», закончив свою речь при овациях. Ознобишин повторил свое стихотворение, после чего состоялся обед в доме Дворянского собрания с подходящими случаю тостами. Как видим, ритуал стал гораздо более подробным.

Энтузиазм был всеобщим. На какие слова публика реагировала столь бурно? Еще в 1833 году в прошении к государю симбирские дворяне определяли собственный импульс: «Желая ознаменовать и увековечить высокое уважение наше к памяти уроженца Симбирской губернии великого бытописателя Николая Михайловича Карамзина, творениями своими имевшего столь решительное, прочное и благодетельное влияние на просвещение любезного Отечества нашего, вознамерились мы воздвигнуть ему в городе Симбирске памятник»<sup>17</sup>. Ключевые слова этого текста: «увековечить... уважение к памяти» и «просвещение любезного Отечества». Первое отсылает к идее запечатленного прошлого (кенотаф), второе формулирует отношение героя к идеалу, то есть что он сделал, чтобы быть причисленным к веч-

<sup>16</sup> Никифоров Н. Симбирск и его общественная жизнь (Письма в редакцию «Казанского биржевого листка»). Казань, 1888. С. 19.

<sup>17</sup> Трофимов Ж. Карамзину, историку Государства Российского (известное и неизвестное) // Памятники Отечества. 1995. № 34 (3,4). С. 150.



ности. Для этого времени высшей ценностью объявляется, таким образом, просвещение.

Как формулируется суть происходящего в речи Погодина, прозвучавшей 12 лет спустя? Определяя роль Карамзина в общественной жизни, М. П. Погодин (историк!) упорно на первое место ставит его писательство: «Заслуги Карамзина относятся к Языку, Словесности и Истории»<sup>18</sup>. Ряд имен, в которые вписывается герой, знаменателен. Дважды он упоминается рядом с Ломоносовым — и как самим провидением связанный с ним, и как достойный продолжатель его дела. В преодолении же трудностей при изучении истории он сравнивается с Петром и Суворовым, причем особо отмечается мужество Карамзина на этом поприще — идея легитимности памятников воинам и борцам все время присутствует где-то на заднем плане. Погодин акцентирует эту связь: «Счастливым себя почту, если успею сколько-нибудь оправдать Вашу столь лестную для меня доверенность, исполнить хоть отчасти долг, лежащий уже давно на всех служителях Русского слова, и представить в ясном по возможности свете пред взорами соотечественников высокое значение тех мирных подвигов, за которые ныне скромный писатель удостоивается высочайшей гражданской почести»<sup>19</sup>.

Гражданский пафос принадлежит, скорее, не событию, а времени, однако важно, что открытие памятника представляется подходящим случаем для использования его. Тем не менее заслуги в сфере словесности всегда оказываются первыми в ряду, и лишь вслед за «русским писателем» появляется «русский гражданин». «Пусть памятник, теперь ему, соизволением Императора Николая, здесь поставленный, одушевляет ваших детей и все следующие поколения в благородном стремлении к высокой цели Карамзина! Пусть дух его носится всегда в России! Пусть он останется навсегда идеалом Русского писателя, Русского гражданина, Русского человека, — по крайней мере долго, долго, заключу его же выражением, если на земле нет ничего бесмертного, кроме души человеческой»<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Погодин М. Историческое похвальное слово Карамзину, произнесенное при открытии ему памятника в Симбирске, августа 23, 1845 года, в собрании симбирского дворянства. М.: Б. изд., 1845. С. 8.

<sup>19</sup> Там же. С. 3–4.

<sup>20</sup> Там же. С. 65–66.

В письме к М. А. Дмитриеву М. П. Погодин, рассказывая об открытии памятника, переходит от эйфории к рефлексии: «Вот как отпраздновали мы открытие памятника Карамзину. Кажется — это было первое торжество в таком роде. Первые опыты не могут быть полны, Державин в Казани может быть открыт теперь разумеется еще с большим блеском. Всего нужнее *гласность*, которая у нас вообще находится в самом несчастном положении. Надобно по всей России заранее распространить известие о дне открытия; надобно, чтобы все Университеты и Академии могли прислать своих представителей; чтобы произнесено было несколько торжественных речей, чтобы заранее напечатана была книга, хоть в роде альманаха, в честь Державину, с его биографией, письмами, известиями, разборами его сочинений, описанием памятника, портретами, снимками, в молодости, в старости, с его руки, и тому под. — Все это будет, будет, когда мы сделаемся опытнее, своенароднее на деле, а не на словах только»<sup>21</sup>.

Здесь важно понимание того, что факт создания должен сопровождаться событием открытия, и ощущение недостаточности существующего ритуала. Вероятно, именно в этом контексте и не берутся в расчет предыдущие памятники (в том числе и памятник Ломоносову в Архангельске) — гласного, общественного *события* не было. Только сопутствующие ритуалы могут ввести бездушный, в сущности, монумент в поле культуры, подчеркнутая значимость события придает значимость самому памятнику, объясняет его окружающим, делает частью жизни. Об этом же Николай Языков писал своему брату Александру: «По случаю объявления (так называется в нашей Библии инаугурация монументов) памятника Карамзину должно издать альбом, в котором должны участвовать все русские поэты и прозаики: каждый пусть напишет об нем стихи или статью! Так делали немцы в честь Шиллера и Гёте. Похвально перенимать похвальное»<sup>22</sup>. Создание памятников уже не декларируется как практика, ориентированная на иностранцев или копирующая иностранную. Однако как только возникает желание эту практику как-то оживить и развить, приходится обращаться к чужеземному опыту. Он плохо приспособлен к русской действительности — цензура далеко не сразу

<sup>21</sup> Погодин М. Об открытии памятника Карамзину. Письмо из Симбирска (к М. А. Дмитриеву) // «Москвитянин». 1845. № 9. С. 5, 16.

<sup>22</sup> Трофимов Ж. Симбирский памятник Н.М. Карамзину. Известное и неизвестное. М.: Изд. центр «Россия молодая», 1995. С. 24.

разрешила печатать погодинское «Историческое похвальное слово...», а потом и языковское стихотворение, посвященное открытию памятника в Симбирске. Разрешение было получено только в январе 1846 года. Если бы инициаторы открытия памятника озаботились изданием сопутствующих материалов, памятник вряд ли удалось бы открыть еще лет десять!

К кому был обращен памятник, для кого и кем он создавался? С одной стороны, адресат, безусловно, в будущем. О памяти почти не говорится, говорится о потомках и о воспитательном значении монумента, то есть вся эта история как бы говорит культурным наследникам: вот эта фигура для вас важна, вы должны учитывать ее существование (правда, тут же возникает ощущение, что нужно еще и объяснять, чем важна). Но многочисленная публика, собравшаяся на открытие, не из потомков же состоит... Выступающие видят свою публику в лицо и обращаются к ней. «Слава вам, **мужи именитые**<sup>23</sup>, коим первым пришла на сердце, сродная вашему сердцу, благородная мысль, *почтить премудрость!*» (епископ Симбирский и Сызранский Феодотий)<sup>24</sup>. Мучаясь составлением речи, Погодин описывает ситуацию произнесения ее: «Перед кем? Не перед толпой необразованной, легко приходящей в соблазн, способной к кривым толкованиям, а **перед дворянами, его согражданами, людьми просвещенными!**»<sup>25</sup> Иллюзий относительно народного характера торжества нет.

Вся эта красивая история отравлялась только одним, а именно памятником. Это стало ясно еще до открытия. Н. М. Языков писал к Н. В. Гоголю еще в 1844 г.: «Памятник, воздвигаемый в Симбирске Карамзину, уже привезен на место. Народ смотрит на статую Клии и толкует, кто это: дочь ли Карамзина или жена его? Несчастный во все не понимает, что это богиня истории!! Не нахожу слов выразить тебе мою досаду, что в честь такого великого человека воздвигают эту вековечную бессмыслицу!!»<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Полужирным здесь и далее в цитатах выделено мною. — С.Е.

<sup>24</sup> Открытие памятника Карамзину // Журнал Министерства народного просвещения. 1845. № 9. Отд. VII «Новости и смесь». С. 37.

<sup>25</sup> Погодин М. Об открытии памятника Карамзину. Письмо из Симбирска (к М.А. Дмитриеву) // «Москвитянин». 1845. № 9. С. 8.

<sup>26</sup> Переписка Н. В. Гоголя. в 2 т. Т. 2 / Сост. и коммент. А. Карпова и М. Виролайн. М.: Художественная литература, 1988. С. 401.

Прогнозы оправдывались. Венчающую постамент женскую фигуру принимали и за Варвару-великомученицу, и за покаявшуюся волжскую разбойницу, которую называли чугунной бабой.

Опыты по постановке памятников писателям продолжались. В Казани в 1847 г. был установлен памятник Г.Р. Державину, над которым работала та же команда, что и в Симбирске, — скульптор С. И. Гальберг, архитектор К. А. Тон. Открытый чуть позже симбирского памятника, державинский монумент имеет более долгую предысторию.

Наиболее подробная версия событий принадлежит профессору Я. К. Гроту. 1880 год, когда вышла его книга «Жизнь Державина» в заключительном томе державинского собрания сочинений (на долгие годы ставшего образцом изданий подобного рода), отмечен открытием памятника Пушкину и пушкинскими торжествами. Грот был одним из самых активных участников этого события. Мысль о постановке памятника Державину казалась ему к 1880 году уже вполне сама собой разумеющейся, и он не замечает анахронизма, когда пишет: «Естественная мысль воздвигнуть в Казани памятник по примеру поставленного в Архангельске Ломоносову, была, уже в первые годы по смерти поэта, высказываема несколько раз»<sup>27</sup>. Державин умер в 1816 году, и памятника Ломоносову тогда еще не существовало даже в проекте. Значит ли это, что речь об общественном монументе писателю в России впервые зашла именно в связи с Державиным? Из нескольких существующих версий начала этой истории складывается впечатление, что реальная история общественного монумента начинается все-таки с подражания памятнику Ломоносову, просто речь об общественном монументе заходит не в 1816 году, а значительно позже.

Дальнейшая хронология событий по Гроту выглядит так: 1830 год — казанское Общество любителей отечественной словесности составило проект памятника и препроводило его министру народного просвещения, Академия художеств его не одобрила, был разработан новый проект академика А. И. Мельникова и открыта подписка по всей империи. Сбор пожертвований был так успешен, что решили возвести еще более монументальный памятник и объявили конкурс, по-

<sup>27</sup> Грот Я. К. Жизнь Державина // Державин Г. Р. Сочинения. Т. 8. СПб.: Б. изд., 1880. С. 1017.

бедителями которого стали архитектор К. И. Тон и скульптор С. И. Гальберг. После долгих обсуждений городская общественность решила поставить монумент на городской площади, но в дело опять вмешался император — самый большой специалист по постановке памятников в России. При посещении Казани Николаем I в 1836 году для высоких гостей была устроена подробная экскурсия по университету, по окончании которой «Государь Император приказать изволил, среди этого двора, поставить предполагаемый памятник в честь Державина»<sup>28</sup>. В 1870 году памятник из тесного университетского двора все же перенесли. Поскольку, он «мало доступен для публики, многим и совершенно неизвестен, не может способствовать ни украшению города, ни поддержанию в обществе воспоминания о трудах покойного поэта, и получает от местоположения своего значение какого-то частного монумента, почти излишнего»<sup>29</sup>.

Весь процесс в 1832–1833 гг. освещается в «Прибавлениях к “Казанскому вестнику”», издаваемому университетом, здесь публикуются сообщения об утверждении проекта, открытии подписки, «списки чиновникам и другого звания лицам, сделавшим пожертвования на сооружение в Казани памятника Г. Р. Державину». «Эти списки свидетельствуют, что подписка приняла широчайший размах и действительно шла “по всему государству”... Пожертвования поступали от самых различных сословий: в г. Саратове “купец Образцов 10 рублей 25 копеек”, в г. Лукоянове “крестьянин Павел Кохин серебром 10 копеек”, в г. Оханске “генерал-губернатор Западной Сибири генерал от инфантерии Иван Александрович Вельяминов ассигнациями 50 рублей”, в г. Онеге “подканцелярист Петр Яковлев Петров серебром 5 копеек”»<sup>30</sup>.

В 1847 году в местной хронике помещались «подробные сообщения о ходе подготовки к открытию памятника. Все лето вокруг памятника безостановочно шли работы. Люди толпами приходили посмотреть на “Богатыря”, как простой народ называл статую»<sup>31</sup>. Хотя,

<sup>28</sup> Рыбушкин М. Краткая история города Казани: в 2 ч. Казань: Тип. Шевич, 1849. Ч. 2. С. 108.

<sup>29</sup> Грот Я. К. Указ. соч. С. 1021.

<sup>30</sup> Альмухаметова Г. А. Материалы местной печати об открытии памятника Г. Р. Державину в Казани // Вопросы источниковедения русской литературы второй половины XIX — начала XX века. Казань: КГПИ, 1985. С. 17.

<sup>31</sup> Альмухаметова Г. А. Указ. соч. С. 18.

положа руку на сердце, на богатыря скульптурный Державин похож мало. По замыслу автора, передаваемому Гротом, «поэт сидит на камне, на скалистой почве; углубленный в размышление, он вдруг почувствовал себя вдохновенным; голова его поднялась, чтобы уловить мысль, в ней сверкнувшую; правая рука осталась в том же положении, как он поддерживал голову; левая берется за лиру». Одет он лаконично — в тогу и сандалии. На рельефах Гальдберга — богатый набор мифологических и аллегорических фигур: Минерва, Аполлон, Фемида, Грации, Фелица, Ночь и День.

Открытие памятника в 1847 году сопровождалось обязательной в таких случаях панихидой, амвоном перед памятником, откуда проносились речи, провозглашением «вечной памяти», окроплением святой водой и речью архимандрита. По окончании этой церемонии действие перенеслось в университетскую актовую залу, украшенную соответственно случаю мемориальным столом с письменным прибором писателя, а также бюстом чествуемого.

Ритуал открывался магической частью, которую успешно провел архимандрит Гавриил, слово которого напоминало заклинание: он говорил о народных учителях (в число которых входили Ломоносов и Карамзин) и певцах (здесь он переходил к Державину). Главные слова в его речи — “Отечество”, “Бог”, “герои”. Теперь уже очевидно, что церковь постепенно вырабатывает свое отношение к воздвижению кумиров, оформляя его концептами мудрости, учительства и народного просвещения.

Казань — университетский город, и вполне логично задача риторического оформления праздника ложилась в основном на университетские кадры. Содержательная часть была богатой на слова и мысли и включала попытку рефлексии происходящего: начинает осознаваться традиция. Памятник Державину как бы выводится за пределы казанского локуса, он оказывается не местным казусом, а ответом местной инициативы на общероссийскую традицию, участием ее в общей (прошлой, настоящей, будущей) жизни всей России. «Так Мм. Гг. мы совершили прекрасное торжество сколько в **память** знаменитого поэта, столько же в залог и свидетельство **настоящей и будущей** нашей славы. Монумент, составляя **украшение и честь города нашего**, будет привлекать сюда **из отдаленных стран и современников и потомков** на поклонение, как к святыне. Он будет говорить им: смотрите: как высоко ценят и награждают Самодержцы Рос-

**сии** всякое отличное дарование, всякую **заслугу отечеству**; какую горячую любовь питают **Россияне** к всему изящному и высокому!». Впервые, заметим, к монументу применяется такое понятие, как «святыня». Пытаясь отчасти дезавуировать сказанное, оратор начинает кланяться: «Но пусть время разрушит его, развеет даже самый прах; имя Державина не исчезнет в забвении; он сам себе соорудил памятник чудесный, вечный, тверже металлов, выше пирамид; его ни вихрь не сломит быстротечный, ни времени полет не сокрушит»<sup>32</sup>. Имя еще считается принадлежащим человеку, серьезным аргументом в утверждении памяти оказывается обращение к словам самого чествуемого, оно пока полностью не экспроприируется и не эксплуатируется коллективной памятью, посягающей только на визуальный образ, воспроизводящий отвлеченную идею.

В речах создается параллельный визуальному (и по поводу, и в связи с визуальным) словесный образ поэта: оба они должны подкреплять друг друга. И тот и другой обращены к будущему. И опять возникает рефлексия традиции, которая уже осознается как традиция, и выстраивается некая типология. К. Фойгт формулирует оправдание данной практики: «Я сказал: *у подножия памятника*. Да! **Значение памятников** неизмеримо важное, поучительное. Не они ли пробуждают горячее благоговение к мировым заслугам; и не они ли в то же время, **красноречивее**, чем **мертвые хартии** (приоритет визуального образа перед словесным. — С.Е.), свидетельствуют о постепенном проявлении **народных сочувствий к высшим интересам человечества**? (Замечательна констатация разрыва между «высшими интересами человечества», материализующимися в памятниках, и медленным движением к ним «народных сочувствий». — С.Е.) Смотрите: вот, под кроткою дланью Августейшего Монарха, три преимущественно великолепные памятника воздвиглись на обширном пространстве нашей Отчизны: они — **воплощенная история нашего духовного прогресса**. Там, на роскошной площади северной столицы, взвизывает исполинская колонна, сооруженная Великому Брату равно Великим Братом: она — символ **воинской доблести и государственной мудрости**<sup>33</sup>. Вот ближе, на крутом берегу Волги, стоит грустная муза над бюстом

<sup>32</sup> Отчет о сооружении памятника Державину, читанный секретарем Общества любителей отечественной словесности Суровцевым. Казань: Б. изд., 1848. С. 11.

<sup>33</sup> Александровская колонна на площади перед Зимним дворцом, поставленная в честь победы Александра над Наполеоном, была открыта в 1834 году.

незабвенного историографа: дань общественного уважения **к науке**. Здесь теперь, в наших глазах, среди мирных святынь науки, предстал вдохновенный образ великого поэта, нашего соотечественника, и просветленный взор его обращен к небу, его истинной родине: это — живое свидетельство нашего благоговения к **искусству**, к его высокому, святому значению»<sup>34</sup>.

Памятник словесный живет в пространстве эмоций, в большей или меньшей степени воспроизводя при каждом обращении к нему и ту атмосферу, которая сопутствовала его возникновению. Памятник материальный остается в пространстве города наедине со зрителем, на которого он должен воздействовать каждый раз индивидуально и заново. Речи произносились в актовом зале университета, памятник имелся в виду довольно отвлеченный, памятник как факт, а не артефакт. Тем не менее, видимо, некоторые сомнения присутствовали, поскольку секретарь Общества любителей российской словесности (ОЛРС) поспешил оправдаться: «И не наше дело оценивать его (памятника) достоинство... Все, кто любит прекрасное, кто дорожит славой и честью Отечества, спешили изъявить свою готовность, по мере сил и возможности почтить память великого поэта»<sup>35</sup>. То есть прекрасен сам предмет — уже и этого достаточно.

Памятник должен был стать неким значимым местом не только в истории, но и в топографии города. Стал ли? Даже Грот, выходя из состояния пафоса собрания сочинений, вынужден заметить: «...по местному народному рассказу, “чугунный генерал из *наверститута*, где студентов обучают, поехал к театру”, и поставили его тут на площади потому-де, что монументу эдакого человека, вельможного и генерала, стоять на дворе *наверститута* не пригоже (сноска: Путевой очерк графа Сальяса в Беседе 1872 г., кн. 1, Внутр. обзор., с. 84). По другому воззрению, однакож, стоящие у памятника казанские извозчики, бранясь между собою, говорят друг другу: “Эх ты, идол! Державин ты эдакий!” От великого до смешного только один шаг»<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> *Фойгт К.* Речь при открытии в Казани памятника Г. Р. Державину, произнесенная проректором Императорского казанского университета 25 августа 1847 года. Казань: Б. изд., 1847. С. 87–88.

<sup>35</sup> Отчет о сооружении памятника Державину... С. 7.

<sup>36</sup> *Грот Я. К.* Указ. соч. С. 1022.



По свидетельству путеводителей имен у этого монумента было много — и «татарского богатыря, воевавшего с царем Иваном Васильевичем», и просто «богатыря», и какого-то неведомого «генерала Державина» и т.п. Три грации, внимающие на одном из барельефов стихам Державина, народ считал тремя дочерьми, «которых богатырь Державин к матушке царице приводит». Постепенно в городском пространстве он становится тем, кого татары называли «бакыр бай» — «бронзовый дед».

То, что традиция начинает складываться и осознаваться как таковая, подтверждает история следующего памятника. Вещный результат (то есть скульптурное изображение писателя в доступном пространстве), казалось бы, свидетельствовал о типологической общности случаев. Однако история возникновения, поведение причастных к этому лиц и восприятие окружающих заставляют сомневаться в этом. Речь идет о памятнике И. А. Крылову.

Через год после смерти И. А. Крылова в «Петербургских ведомостях» была объявлена подписка на памятник, за три года собрали более 30 тыс. рублей и в 1848 году провели конкурс в Академии художеств. Выиграл Г. Клодт<sup>37</sup> (первый вариант памятника — Крылов в римской тоге, сидящий на скале с книгой в руках). Следом начался процесс поиска места.

Все было и так, и не так. Можно было бы только порадоваться тому, сколь быстро общество проявило готовность к увековечению, только... никакой общественной реакции не было. Инициатором на этот раз выступила власть. Призыв к подписке был опубликован в официальном органе — Журнале Министерства народного просвещения и подписан официальными лицами: президентом Академии наук С. С. Уваровым (действующим министром народного просвещения, о чем подпись скромно умалчивает), почетным членом Академии наук графом Д. Н. Блудовым и другими. Деньги собирало казначейство Министерства народного просвещения<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Несмотря на проведение конкурсов Академией художеств, создание монументов писателям передавалось чуть ли не по наследству. Первым был И. Мартос, затем эстафету принял его ученик по Академии художеств С. Гальберг. Его памятники Карамзину и Державину переводил в бронзу Г. Клодт, который и стал автором следующего памятника.

<sup>38</sup> Обращение, напечатанное в Журнале Министерства народного просвещения, повторяется дословно в «Русском инвалиде» (1845. № 11. С. 29–30), что подтверждает статус официальности текста.

И технология создания, и сопроводительная риторика вполне соответствовали канону. Крылов оказывается в том ряду «знаменитых соотечественников», память о которых «благодарность народная» сохраняет для «грядущих поколений». Правда, эту память в данном случае олицетворяет «правительство, в семейном сочувствии с народом», которое, «объемля просвещенным вниманием и гордою любовью все заслуги, все отличия, все подвиги знаменитых мужей, прославившихся в Отечестве, усыновляет их и за пределом жизни, и возносит незыблемую память их над тленными могилами сменяющихся поколений». Помимо победителей в военных сражениях памяти заслуживают и другие герои: «Но и другие деяния и другие мирные подвиги не остались также без внимания и без народного сочувствия. Памятники Ломоносова, Державина, Карамзина красноречиво о том свидетельствуют. Сии памятники, сии олицетворения народной славы, разбросанные от берегов Ледовитого моря до Восточной грани Европы, знаменами умственной жизни и духовной силы населяют пространство нашего необозримого Отечества. Подобно Мемноновой статуе, сии памятники издают, в обширных и холодных степях наших, красноречивые и законодательные голоса под солнцем любви к Отечеству и нераздельной с нею любви к просвещению». Здесь декларируется новый способ проявления любви к Отечеству — не с оружием в руках, а служа просвещению оною. Причем традицию пытаются представить гораздо более репрезентативной, чем она есть на самом деле (три памятника на бескрайние просторы). Далее следует оправдание выбора героя — и как всегда оно мотивируется заслугами героя в области словесности. «Подобно трем поименованным писателям, и Крылов неизгладимо врезал имя свое на скрижалях Русского языка»<sup>39</sup>.

Прежние памятники, возводимые по инициативе местного дворянского общества, устанавливали в местах, связанных с происхождением героев. Место постановки нового памятника в центре империи требовало некоторых объяснений — оно объявляется местом славы. Заканчивается обращение формулировкой эстетической программы памятника. «Художнику, призванному увековечить изобра-

<sup>39</sup> О памятнике Крылову // Журнал министерства народного просвещения. 1845. № 2. Отд. VII «Новости и смесь». С. 19–24.

жение его, не нужно будет идеализировать свое создание. Ему только следует быть верным истине и природе. Пусть представит он нам подлинник в живом и, так сказать, буквальном переводе. Пусть явится перед нами в строгом и верном значении слова вылитый Крылов. Тут будет и действительность и поэзия. Тут сольются и в стройном целом обозначатся общее и высокое понятие Искусства и олицетворенный снимок с частного самобытного образца, в котором резко и живописно выразились черты Русской природы в проявлении ее вещественной и духовной жизни»<sup>40</sup>.

Послание было авторитетным, ему не перечили ни в чем. Деньги собрали, памятник открыли, Крылова изобразили в реалистичном виде в компании не аллегорических персонажей, а зверушек из его басен (хотя именно они-то и были аллегориями). Однако всенародного праздника не получилось, он вышел каким-то семейным. Народность Крылова не подвергалась сомнению, заслуги перед русским языком – тоже, возможно, дело в том, что «распространить же народность на всю словесность не позволила ограниченность такого рода поэзии, как басня: это впоследствии совершил А. С. Пушкин. И так, за Крыловым остается слава русского народного поэта»<sup>41</sup>.

Власть конструирует предмет, который должен вписаться в традицию, таким образом проявляя заинтересованность в этой традиции и как бы примеряясь к тому, как можно ее использовать. Отрицательный результат – повод для анализа. Из народного поэта Крылова национального героя не получилось. «Одомашнивание» увековечения поэтов продолжалось. Появились еще два памятника поэтам, установка которых осталась в рамках семейных торжеств, – Жуковскому в Поречье и Кольцову в Воронеже. Появление памятника переставало быть общественным событием, становилось утилитарной практикой, словесное и ритуальное оформление редуцировалось, символическая составляющая нивелировалась.

<sup>40</sup> О памятнике Крылову (вырезка из Журнала Министерства народного просвещения). Б. м., б. г.

<sup>41</sup> *Рошупкин Н.* Иван Андреевич Крылов как русский народный баснописец // Празднование в Воронеже столетнего юбилея И. А. Крылова 2 февраля 1868 г. Воронеж: Б. изд., 1868. С. 53.

В исследованиях, посвященных памятнику Пушкину, неизменно указывается, что мысль о его создании появилась непосредственно после смерти поэта. Однако все ранние свидетельства говорят о надгробном памятнике, а вовсе не об общественном монументе.

История создания общественного памятника Пушкину знает попытку 1855 года. Докладная записка была составлена в Министерстве иностранных дел (по ведомству которого когда-то числился Пушкин) и подписана коллежским асессором Василием Познанским и еще 82 чиновниками. «...Памятники, воздвигнутые уже Ломоносову, Карамзину и Крылову, свидетельствуют, что мы, Русские, подобно всем просвещенным народам, признательны к плодотворным заслугам наших великих писателей; в отношении, однако, гениальнейшего из наших поэтов, пробудившего дивными песнями столько прекрасных чувств и стремлений в соотечественниках, столько сделавшего для Русского слова, эта признательность не имеет пока внешнего выражения: Пушкину не поставлено еще памятника!»<sup>42</sup> Результат был нулевой, но важно отметить уже сложившиеся константы риторики по этому поводу: русские, вписанные в семью просвещенных народов; присущая просвещенным народам традиция выказывать память именно подобным образом; заслуги в области Русского слова, предполагающие общественную благодарность; ряд прецедентов, которые дают основания надеяться.

Надгробный памятник и склеп в Святогорском монастыре ветшали, что вызывало возгласы отчаяния. В «Русской беседе» в 1859 году появляется очерк писательницы Н. С. Соханской (Надежды Кохановской) «Степной цветок на могилу Пушкина». «У Пушкина нет памятника! (...) Двадцать первый год наступил со дня роковой кончины нашего первого великого поэта, и что же мы сделали в память его? Ничего. И неужели пройдет и двадцатипятилетие, этот условленный срок времени, когда правительство и общественная жизнь привыкли признавать и запечатлевать наградами услуги людей, заявивших себя на поприще государственной деятельности и обществен-

<sup>42</sup> Цит. по *Левит Маркус Ч.* Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года / Пер. с англ. И. Н. Владимировой, В. Д. Рака. СПб.: Академический проект, 1994. С. 46.

ного блага, — неужели пройдет это двадцатипятилетие со дня смерти Пушкина и, в стыд себе, наша общественная благодарность ничем не поклонится на могилу родного великого поэта?»<sup>43</sup> Заметим, речь идет опять о могиле, но автор уже видит и другие варианты. «Неужели мы не можем вспомнить, что есть другое место, которое любил почивший? — восклицает писательница, имея в виду Царское Село: — И неужели не шевелит нам сердца мысль: чтобы в эти сады, куда наш поэт приходил, ...внести ореол славы нашего поэта? Чтобы его благородный лик... представал в этих садах в мраморном величии той глубокой торжественной мысли, которая была присуща поэту по свойствам его высокой природы?»<sup>44</sup>

Поминание уместно над могилой, назидание — на площади: все же в общем преобладает риторика памяти, а не дидактики будущим поколениям. Однако, говоря о том, что власти показали пример и исполнили свое дело по отношению к памяти поэта (обеспечение семьи), автор замечает, что остальное не дело правительства. «Более того, оно не могло и не должно было делать, оставляя в дальнейшем выразиться ходу общественного мнения и силе наших симпатий к поэту /.../ Неужели за это время мы не могли собрать с миру по нитке, чтобы каким-либо общественно-задуманным и исполненным делом почтить память поэта и заявить наше собственное поэтическое чувство перед потомством?»<sup>45</sup>

Год спустя, защищая Пушкина от нападков реальной критики, другой автор восклицает не менее патетически: «Нет, Пушкина у нас любят, как только можно любить отжившего деятеля почти через четверть века после его смерти! (...) Где же тут холодность? Неужели наша публика холоднее к Пушкину, чем немецкая к Гёте или английская к Байрону? Да и какими же путями может у нас выражаться любовь к поэту? Памятниками, юбилеями что ли? Но ведь и Мольеру памятник поставлен не сейчас же после смерти, и Шиллеру юбилей праздновался только в сотую годовщину его рождения»<sup>46</sup>. Эта необходимость временной дистанции от личной смерти до общественного по-

<sup>43</sup> Кохановская Н. Степной цветок на могилу Пушкина // Русская беседа. 1859. Т. 5. Кн. 17. Критика. С. 74 (54).

<sup>44</sup> Там же. С. 76–77 (56–57).

<sup>45</sup> Там же. С. 75–75 (55–56).

<sup>46</sup> Крестовый поход наших передовых журналов на Пушкина // Светоч. 1860. № 8. С. 7 (3-я пагинация).

минания — фиксация очень важного момента в работе механизма культурной памяти.

Буквальным ответом на этот риторический вопрос в том же 1860 году оказались действия выпускников Царскосельского лицея, решивших на своем ежегодном собрании инициировать постановку памятника Пушкину. Была получена на то благосклонность государя, распорядившегося поставить памятник в уединенном Лицейском саду — придав ему таким образом невнятный то ли общественный, то ли частный статус. Подписка на сооружение памятника была открыта по всей России. Всего за десять лет было собрано 17 114 рублей, и дело как-то само собой прекратилось.

Следующая попытка опять исходила из лицейской среды, только прихлала она уже на пореформенное время. На встрече 19 октября 1869 года К. К. Грот предложил возобновить вопрос о памятнике, для чего назначить специальный комитет, который весной 1871 года и был утвержден.

Комитет не столько продолжал начатое дело, сколько начинал его заново. На самотек в этот раз дело пущено не было, действовать начали технологично, широко разрекламировав мероприятие и используя (частным образом) административный ресурс: были напечатаны специальные книжки для регистрации пожертвований и организована система рассылки их по ведомствам и местностям. Изменение предполагаемого места постановки памятника (он перемещался в Москву), по мысли комитета, также должно было активизировать подписку. Новое место давало памятнику право претендовать на общенародный, а не полусемейный лицейский статус. Вопрос о месте дебатировался и комитете, и в обществе, но решен был на высочайшем уровне.

Активное участие в подготовке к открытию памятника в Москве приняло Общество любителей российской словесности, имевшее богатый опыт организации юбилейных литературных торжеств. Из-за смерти императрицы Марии Александровны церемония открытия была перенесена, но остановить процесс уже было нельзя. На открытие к 6 июня в Москву прибыли принц П.Г. Ольденбургский, министр народного просвещения А.А. Сабуров и дети Пушкина. По всей Российской империи день праздника был объявлен неучебным днем. Накануне открытия в Москве в присутствии всех официальных лиц прошел торжественный акт, на котором были представлены

более сотни делегаций от разных городов и учреждений с приветственными адресами.

Торжества 6 июня 1880 года начались в Страстном монастыре заупокойной литургией по усопшему Александру — служба, молебствие и панихида продолжалась около двух часов. Затем гости перешли площадь, к памятнику, окруженному депутациями, — над толпой были подняты медальоны на высоких шестах с названиями произведений Пушкина. Зрелище, надо полагать, напоминало о хоругвях, сопровождающих крестный ход. Это была не единственная примета, вызывавшая у современников мысль о церковном празднике. Торговые заведения, магазины и лавки в Москве были в этот день закрыты, как на Пасху. Памятник торжественно передали в ведение Московского городского управления и освободили от покрывала под звон колоколов и звуки четырех военных оркестров с хором певчих. Пока возлагали венки, толпу держали на расстоянии, но едва заграждения были сняты, произошло «зрелище, показавшееся некоторым верхом безобразия и беспорядка, но которое, на взгляд всех здравомыслящих и чувствующих людей, явилось, напротив, умилительным и отрадным зрелищем. Люди бросились к подножию и стали отщипывать и отрывать от венков кто веточку, кто несколько листьев на память. Около десятка венков погибло, но большинство осталось нетронутыми народом, который при этом не останавливала никакая полицейская команда»<sup>47</sup>. Это стремление быть причастным благодати напоминает о народной религиозности, неожиданно проявившейся в этом событии. Эмоциональное восприятие происходящего, доходившее порой до степени не только эйфории, но и истерики, содержало неявный религиозный подтекст. Это могло вызывать раздражение: анонимный автор, иронизируя, писал о «празднике русской литературы в Москве, который почему-то некоторые газеты считают “народным” (не потому ли, что он тянулся три дня — на манер “храмовых праздников” нашего народа?)»<sup>48</sup>, или недоумение: «Все очевидцы этого события отмечали огромное стечение народа, в том числе многих крестьян и торговцев, привлеченных праздничными приготовлениями, которые Василевский сравнивал с приготовлениями к

<sup>47</sup> Санкт-Петербургские ведомости. 1880. 11 июня. № 159. Цит. по: Чубуков В. Всенародный памятник Пушкину. М.: Тверская, 13. 1999. С. 80.

<sup>48</sup> Очевидец. Еще несколько слов о пушкинском празднике // Русское богатство. 1880. № 7. С. 29.

Пасхе и Рождеству»<sup>49</sup>, или породить неожиданное определение происходящего как «“святой недели” российской интеллигенции»<sup>50</sup>.

Однако сама церковь при открытии памятника в этот раз изменила обряд, уже казавшийся сложившимся. Это отметил Луи Леже — крупный славист, доктор литературы, академик, преподававший русский язык в школе восточных языков Коллеж де Франс, единственный из приглашенных зарубежных гостей, лично посетивший торжества. «Некоторые набожные удивлялись, что памятник не был освящен духовенством; обыкновенно оно участвует в такого рода торжествах. Но свой долг духовенство только что выполнило в монастырской часовне, где отправлявший службу священник сказал похоронную речь о великом поэте, напомнив, что он умер христианином»<sup>51</sup>. Хотя и было объявлено, что митрополит Макарий по окончании молебна освятит статую, но священнослужители не вышли на площадь. «Полуофициальная церковная газета “Восток” впоследствии объясняла: “Святой Синод не нашел возможным одобрить кропление статуи святою водою, что, как известно, воспрещено уставами православной церкви”. И хотя этот отказ огорчил многих (“Петербургская газета” написала, что это, наоборот, придало церемонии на площади нужный “гражданский характер”), не все согласились с доводами “Востока”. “Невольно рождается вопрос: как же до этого времени все памятники освящались нашим высшим духовенством?” — написал “Русский курьер”. Барсуков подтверждает, что памятник Карамзину в Симбирске освящен; и, как отмечал “Русский курьер”, так же обстояло дело с памятниками в Кронштадте и Петербурге адмиралам Беллинсгаузену и Крузенштерну, которые к тому же были не православными, а лютеранами. “Берег” сообщал 4 июня, что “некоторые кружки, не желавшие, чтобы “празднество литературное имело церковную санкцию”, пускали под рукою слухи, что народ простой находит странным, что будут освящать в церкви “истукана” и поминать в церкви человека, убитого на поединке”. /.../ Тем не менее вопрос об отношении церкви к Пушкину не привлек в 1880 г. большого внимания»<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Левит Маркус Ч. Указ. соч. С. 96.

<sup>50</sup> Пушкинский праздник // Новости. 1880. 7 июня. № 149. С. 1.

<sup>51</sup> Леже Л. У памятника Пушкину // Москва. 1965. № 8. С. 206–207.

<sup>52</sup> Левит Маркус Ч. Указ. соч. С. 95–96.



Торжества сопровождались обильными словоизвержениями, что позволяло иронизировать: «Все, что читалось и говорилось на празднике русской литературы в Москве... может быть подразделено на три вида публичного выражения мыслей: декламация, пустозвоние и обыкновенная речь»<sup>53</sup>. Риторика, сопровождавшая празднество, лилась как бы двумя потоками, иногда пересекавшимися между собой. Один поток был связан прежде всего с репортажными публикациями газет, где главным героем было общественное мнение<sup>54</sup>, другой был замечен на заседаниях ОЛРС и в журнальных публикациях, где Пушкин все-таки оставался если не центром события, то точкой отсчета.

Резюмируя впечатления от праздника, Н. К. Михайловский по-факту напишет в «Отечественных записках»: «Да, это, несомненно, комедия, хотя, надо заметить, одна из тех комедий, участвовать в которых нимало не зазорно. /.../ Пушкин тут был предлог, символ, прикрытие, все, что хотите, но только не непосредственный герой торжества. Истинный смысл праздника заключается не в чествовании поэта, а в том, что... литераторы обрадовались “удобству своего дебоша”. /.../ Люди, постоянно вращающиеся в сфере мысли и общественных дел, естественно, должны либо сами выработать себе стоящее шума дело, либо пристроиться к какому-нибудь готовому». Их главным инструментом служит «обычная механика возбуждения толпы, не имеющей практики в деле выражения своих чувств» — толпы, которую используют. «Мало кто думал о Пушкине и на пушкинском празднике. Что у кого болит, тот о том и говорит»<sup>55</sup>.

Кульминацией и символом празднования стала речь Ф. М. Достоевского. «Пушкин есть явление чрезвычайное и может быть единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и

<sup>53</sup> Очевидец. Еще несколько слов о пушкинском празднике // Русское богатство. 1880. № 7. С. 29.

<sup>54</sup> Левит очень точно замечает нестрогость этого понятия в русском употреблении: для одних оно восходило к обществу в европейском смысле слова, для других — к общине. Поэтому оно легко воспроизводилось людьми противоположных убеждений, значим был факт самого его использования — им маркировалось само наличие гражданской позиции. В дополнение к этому заметим, что «общество» противоречиво соотносится с «народом», иногда включая его в себя, а иногда противопоставляясь ему.

<sup>55</sup> Михайловский Н. К. Литературные заметки 1880 года. Июль // Михайловский Н. К. Сочинения. СПб., 1897. Т. 4. Стлб. 912, 916, 921.

пророческое. /.../ Пушкин как раз приходит в начале **правильного самосознания** нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом»<sup>56</sup>.

Речь Достоевского соответствовала общим ожиданиям: «Не было бы Пушкина, не определилась бы, может быть, с такою непоколебимой силой (в какой она явилась потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша **вера в нашу русскую самостоятельность**, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в наше грядущее **самостоятельное назначение в семье европейских народов**»<sup>57</sup>.

Несмотря на усиленную декламацию (порой напоминающую заклинания) по поводу роста национального самосознания, традиционная оглядка на производимое на цивилизованный мир впечатление присутствует в риторике празднества. «Это торжество не может не произвести глубокого впечатления и за пределами нашего государства. **Иностранцы** привыкли смотреть на **русское общество**, на русский народ, как на “стадо людей”, прозябающих под всецельною рукою государственной власти, в казенных рамках, без всякой самостоятельной воли и мысли. **Они** привыкли думать, что эта воля и эта мысль способны проявляться только в диких и необузданных казачьих или разбойничьих кругах или в не менее диких общественных катастрофах последних лет. Теперь они могут убедиться, что **свободная общественная мысль, что свободное народное чувство могут заявлять себя в нашем отечестве без казенной указки и в деле здоровом и великом — в поклонении народному поэту. Чем сильнее общество в государстве, тем могущественнее государство**»<sup>58</sup>.

Левит отмечает, что «сам тип “литературного праздника” был заимствован из-за границы и восходил, по меньшей мере, к знаменитому шекспировскому юбилею, проведенному в 1769 г. Дэвидом Гарикиком и впоследствии служившему образцом для других подобных празднеств, которые к 1880 г. стали обычными на сцене европейской культуры»<sup>59</sup>, однако, перенесенный на русскую почву в специфиче-

<sup>56</sup> Венок на памятник Пушкину. СПб.: Б. изд., 1880. С. 243.

<sup>57</sup> Там же. С. 254.

<sup>58</sup> «Голос». Цит. по: Венок... С. 134–135.

<sup>59</sup> Левит Маркус Ч. Указ. соч. С. 8.

ской ситуации раскладки общественных сил и начинающего проявляться национального самосознания, праздник принял масштабы и значение, далеко выходящие за литературные рамки. «Пушкин оказался в центре острой полемики, в которой высказывались сомнения, существуют ли вообще на самом деле русское общество и русская культура. Имя Пушкина получило огромное символическое значение, далеко выходящее за пределы чисто литературной ценности его сочинений»<sup>60</sup>.

Некая растерянность в поисках визуального образа, могущего соответствовать моменту, наблюдалась по мере развития событий. «Проекты, представленные нашими скульпторами на конкурс весною 1873 года, никого не удовлетворили. Это были, в большинстве случаев, неудачные измышления в самом ложно классическом стиле. Тут был Пушкин, драпированный шинелью наподобие римской тоги, Пушкин, сладко прижимающий к груди лавровый венок, Пушкин, беседующий с музой. Тут были гении лирики и драмы, были фигуры Евгения Онегина, Алеко, Татьяны... Это был какой-то хаос с отсутствием идеи. /.../ Прошло время, когда на памятниках иначе не изображали поэтов, как в хламидах, сандалиях и с лавровым венком на голове; современная скульптура сознала, что только посредственность цепляется за классические атрибуты из боязни не совладать с предметом и желая прикрыть бедность замысла. Г. Опекушин изобразил поэта в обычном платье 20—30-х годов нашего столетия, слегка сгладив уродливости тогдашней моды»<sup>61</sup>. Достаточно заурядный памятник, с точки зрения историков искусств (Опекушин исполнил «ряд незамысловатых провинциальных памятников», среди которых был и памятник Пушкину в Москве. «Последний — лучшая из его работ: характерно схвачены поза и выражение лица поэта»<sup>62</sup>), стал образцовым, может быть, потому, что, так же как и давно умерший поэт, по стертости образа предоставлял возможность для вкладывания в него своих смыслов.

Открытию памятника сопутствовали другие мероприятия по мемориализации: присвоение имени поэта школам и стипендиям,

<sup>60</sup> Левит Маркус Ч. Указ. соч. С. 9.

<sup>61</sup> Памятник Пушкину академика А. М. Опекушина // Нива. 1880. № 21. С. 427.

<sup>62</sup> Врангель Н. Н. История скульптуры // Грабарь И. История русского искусства. М., 1913. Т. 5. С. 382.

устройство Пушкинской выставки<sup>63</sup>. Но для нашей темы самым показательным была легитимация традиции монументального увековечивания. Достойным окончанием праздника было предложение А. А. Потехина на заседании ОЛРС 7 июня: «Мы думаем... что ничем лучше мы не можем завершить празднование чествования памятника Пушкину, как открывши подписку на памятник Гоголю. Пусть Москва сделается пантеоном русской литературы!»<sup>64</sup> Тотчас собрали 4 тыс. рублей и определили место на Никитском бульваре, где обыкновенно жил Гоголь. Новый повод для воодушевления был найден. Все это были лишь намерения, символические жесты, памятник Гоголю был открыт только в 1908 году, но важен этот психологический прецедент перехода от отдельных событий к осознанию протяженности традиции.

Пока же начали множиться пушкинские памятники. В Москве появилась мраморная доска на доме, в котором родился Пушкин. В Петербурге к концу века существовало уже четыре памятника Пушкину, при этом «памятники эти настолько незначительны, что их нельзя считать соответствующими великим заслугам и значению Пушкина. Вот почему Петербург, в котором так много пережил поэт и умер мученической смертью, задумал создать более достойный Пушкина памятник: Высочайше утвержденная несколько лет тому назад при Академии наук Пушкинская комиссия предполагает поставить Пушкину **всероссийский памятник-статую** в С.-Петербурге и, кроме того, устроить музей-пантеон, посвященный художникам русского слова пушкинского и последующих периодов, с наименованием его “Пушкинский дом”. Но так как всем известно **необыкновенное равнодушие нашего общества к памятникам** и вообще ко всяким подобного рода национально-патриотическим начинаниям и учреждениям, то по поводу предложения названной комиссии справедливо бу-

<sup>63</sup> «Одновременно с открытием памятника устроился в двух комнатах Московского дворянского собрания Пушкинский музей. У нас это первая попытка такого рода к охранению памяти великих людей от тления, тогда как на Западе давно уже признана необходимость подобных музеев. Так, например, видим и домик Шекспира со всей тщательно сберегаемой обстановкой до мельчайших подробностей, и помещение Шиллера, и прославленный замок Вольтера» (Открытие памятника А. С. Пушкину // Историческая библиотека. 1880. № 8–9. С. 15).

<sup>64</sup> Торжество открытия памятника А. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 г. с биографией А. С. Пушкина. М.: Б. изд., 1880. С. 44.

дет сказать: “Улита едет — когда-то будет?”<sup>65</sup>» Тем не менее памятники Пушкину через 30 лет имелись в Кишиневе, Тифлисе, Одессе, Киеве, Царском Селе, Вильно, Чернигове, Ашхабаде, Екатеринославле, Харькове, Владимире, Самаре, Пскове.

### «Фигура гения в натуральную величину»

Благословенны времена, когда скульпторы знали посланников небес в лицо, И. Мартосу, описывающему ваемый им памятник М. В. Ломоносову, достаточно было указать только на естественность размеров крылатой фигуры («Высота стоящей фигуры Ломоносова 3 аршина 2 вершка; фигура гения в натуральную величину»). Традиционный спутник поэтов, однако, в первом же памятнике оказался лишним — во время ритуала все время искали способы сделать его невидимым, а позже раздражала глаз несоразмерность масштабов его и главного героя: стало понятно, что гений как-то мелковат. Позже гений из атрибута поэта стал его внутренней характеристикой, и памятник поэту стал соответственно памятником гению.

Прикрывать крылатого гения иконой во время окропления пьедестала стало не нужно, но ощущение неуместности иконы в этой ситуации осталось: постепенно происходит редукция церковного обряда, который дистанцируется от самого памятника во времени и пространстве: панихида и литургия, связанные с открытием памятников, предшествуют светской церемонии и локализуются в сакральной сфере церкви, не выходя за ее пределы. Происходит процесс переадресации святости, указывающая на это риторика все меньше нуждается в оправдании, а возрастающая массовая эйфория свидетельствует об освоении и присвоении нового ритуала. Святость смыкается с гениальностью, гениальность в русской культуре этого времени проходит по ведомству языка.

Память является и условием идентичности, и одновременно инструментом создания ее. Мы то, что мы соглашаемся помнить, память формирует идентичность на индивидуальном и коллективном уровнях. Используемые при этом практики различны. Коллективная

<sup>65</sup> Педашенко С. А. Памятники Пушкину (1837–29 января 1912). М.: Б. изд., 1912. С. 9–10.

память в поисках путей свидетельствования себя может использовать визуальные ориентиры: она выносится вовне, в публичное пространство, материализуясь, например, в общественных монументах. Пространство памяти и физическое пространство пересекаются между собой: память визуализируется, а пространство, аморфное и безымянное прежде, семантизируется. Если прежде место начинало считаться обжитым с момента появления кладбища, то теперь город получал новый смысл после появления памятников, собственно, тех же свидетельств общей памяти, связанной с данным местом.

Это не означает, что лишь сам факт появления визуального знака тут же обогащает коллективную память или механически же преобразует пространство, наделяя его новыми смыслами. Процедура трансформации того и другого в значимый факт определяется как раз культурной практикой памяти, она вырабатывается постепенно, нащупывая те или иные приемы, делающие ее эффективной.

На протяжении XIX века в России можно наблюдать процесс освоения новой практики: создания общественных скульптурных монументов и превращения их в места памяти. Ее заимствованный характер постепенно забывается, она присваивается и развивается адаптирующей культурой.

Ч. Левит связывает ажиотаж пушкинских торжеств с той ролью, которую стала играть литература в культурной жизни России и национальной идентичности. «Именно в Пушкине русские обрели своего Данте, оправдание и мерило национального самоуважения, а Пушкинские торжества стали форумом, на котором совершилось признание этого самоуважения, кратким моментом опьянения, когда показалось, что длительный и болезненный конфликт между государством и народом найдет удовлетворительное решение, моментом, когда пути становления и укрепления современной русской национальной идентичности сошлись к литературе, а в центре их схождения оказался Пушкин»<sup>66</sup>. Памятник стал визуальным знаком идентичности: в случае с памятником Пушкину событие случилось, памятник стал местом памяти.

Пушкин, конечно, в это время был наиболее подходящей фигурой для воплощения идеи национального самосознания (идентичности). К этому моменту неразрывная связь нации и языка прогова-

<sup>66</sup> Левит Маркус Ч. Указ. соч. С. 10–11.

ривалась в России полвека, материализуясь в памятниках лицам, с преобразованием русского слова неразрывно связанным. Но дело было не только в выборе «правильной» фигуры: памятник прошел правильный инициальный обряд, который вырабатывался на протяжении предшествующих десятилетий.

К моменту открытия памятника Пушкину счет относительных удач и неудач при введении памятника писателю в общественное пространство был равным — 3:3. Но они не перемежались друг с другом. Первые три памятника — Ломоносову, Карамзину, Державину — демонстрируют преэминентность и активное развитие практики. При подготовке каждого следующего события учитывается и упоминается предыдущий опыт, разрабатываются и уточняются ритуал и словесные формулировки, сопровождающие открытие. Следующие же три памятника (Крылову, Жуковскому, Кольцову) существуют как-то отдельно и носят в большей или меньшей степени приватный характер.

Три первых случая обладают некоей общностью происхождения — они возводятся по местной инициативе (о чем свидетельствуют не только слова, но и факт пересылки денег непосредственно местным властям). Да и по времени проявления этой инициативы они недалеко отстоят друг от друга: история в Архангельске началась в 1825 году, в Казани — в 1830-м, в Симбирске — в 1833-м. Казалось, процесс начинает развиваться сразу и стремительно. Однако вдруг наступает очевидный перерыв.

Обязательным шагом в реализации проекта было обращение по инстанции к высшей власти за разрешением, и тут формальный момент может оказаться содержательным. Доклад императору по подобным вопросам в это время обычно делал министр просвещения. Единственное исключение из этого — случай Симбирска (последняя инициатива в «серии удач»). Было ли это случайностью? Или оптимизацией процесса в конкретных обстоятельствах?

Министерство просвещения в это время активизирует свою деятельность. Весной 1833 года его возглавляет С. С. Уваров — человек, который за год до этого, едва став товарищем министра, сформулировал в письме к императору свое видение ситуации во власти: «Или Министерство народного просвещения не представляет собой ничего, или оно составляет душу административного корпуса»<sup>67</sup>, артику-

<sup>67</sup> Зорин А. Указ. соч. С. 344.

лируя таким образом претензии на идейное лидерство во всем правительственном аппарате. С начала 30-х годов Российская империя вступает в новую фазу идеологического строительства, и соответствующие взгляды, обозначившие контуры этой системы, сформулировал именно С. С. Уваров в своей знаменитой триаде «православие — самодержавие — народность»<sup>68</sup>. Уваров становится авторитетным идеологом государства в тот момент, когда создавалась идеологическая система, декларирующая принадлежность России к европейской цивилизации и одновременно изолирующая первую от второй. Решая эту нелегкую задачу, нужно было четко наметить границы нужного и ненужного в системе духовных ценностей целого государства. Особенно трудно было найти нужное. А. Зорин пришел к выводу, что «поощрение штудий и исследований в области русской истории было, по существу, единственным предложением позитивного характера, которое сумел выдвинуть Уваров. Прошлое было призвано заменить для империи опасное и неопределенное будущее, а русская история с укорененными в ней институтами православия и самодержавия оказывалась единственным вместилищем народности и последней альтернативой европеизации»<sup>69</sup>.

Практика постановки памятников не могла не попасть под контроль этого властного и амбициозного государственного деятеля, к тому же интересовавшегося вопросами конструирования прошлого в практике историографии. Не исключено, что именно исходя из учета данной ситуации симбирские власти и решились действовать через министра внутренних дел Д. Н. Блудова, который до поры до времени держал вопрос под контролем. Однако к моменту сооружения памятника Министерство народного просвещения было на этом празднике главным, в результате чего М. П. Погодин (главный докладчик) отправился на открытие памятника Карамзину как частное лицо, поскольку отправить его туда официально, по его собственным словам, «министр народного просвещения нашел невозможным, не понимаю, по какой причине. Удивительное дело. Ни одно из высших ученых учреждений не думало принять участие. Правительство как будто бы хотело открыть памятник молча. Хорошее ободрение для

<sup>68</sup> Там же. С. 337–374.

<sup>69</sup> Там же. С. 372.



автора»<sup>70</sup>. Современники видели в этом не личные счеты с Погодиным, а официальную позицию по отношению к событию. В записке М. П. Погодину от Н. М. Языкова содержится пересказ письма от его брата, А. М. Языкова: «...Уваров поступил очень невежественно: если он не желает Погодина, то мог бы предписать хоть Казанскому университету послать хоть кого-нибудь из тамошних профессоров. И того нет. Все это холодно, пусто и глупо»<sup>71</sup>.

Цензурное ведомство было частью Министерства народного просвещения и предметом особого внимания С. С. Уварова — министр влиял на идеологию, политику и практику этого органа на протяжении всего своего срока службы, и не просто влиял — цензурные предписания говорили его языком. Разосланный по высочайшему повелению циркуляр министра народного просвещения от 30 мая 1847 г. извещал попечителей учебных округов: «Русская словесность в чистоте своей должна выражать безусловную приверженность к Православию и Самодержавию... Словенству Русскому должна быть чужда всякая примесь политических идей»<sup>72</sup>. Не это ли послужило поводом к цензурным препятствиям при опубликовании «Исторического похвального слова Карамзину» М. П. Погодина и стихотворения «На объявление памятника историографу Н. М. Карамзину» Н. М. Языкова? В 1847 г. Главное управление цензуры рекомендовало редакторам, издателям и цензорам обратить особое внимание на «стремление некоторых авторов к возбуждению в читающей публике необузданных порывов патриотизма, общего и провинциального»<sup>73</sup>. А ведь 1847 год — это год открытия памятника Державину в Казани (на открытии никого из Петербурга или Москвы не было): кажется, подобные местные инициативы не вписывались в процесс государственного идеологического строительства своего времени.

Центральная власть ищет свою позицию по отношению к процессу создания подобных памятников — и, похоже, не находит ее. Она пытается присвоить намечающуюся традицию себе — именно

<sup>70</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.: Погодин и Стасюлевич, 1894. Кн. 8. С. 181.

<sup>71</sup> Барсуков Н. П. Там же. С. 183.

<sup>72</sup> Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.: Погодин и Стасюлевич, 1895. Кн. 9. С. 236.

<sup>73</sup> Жирков Г. В. История цензуры в России XIX—XX вв. Уч. пособие. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 78—79.

Уваров инициирует постановку памятника Крылову, но в результате памятник остается незамеченным. Последний жест бывшего министра народного просвещения, открыто декларирующий инициативу как частную, сводящий на нет всю гражданскую составляющую события, — воздвижение памятника Жуковскому на собственные деньги в собственной усадьбе.

Император Николай I был далеко не безразличен к монументальному способу увековечения<sup>74</sup>. И на словах — с болезненной тщательностью отслеживал он пушкинские определения медного всадника в поэме. И на деле — в те же 30—40-е годы он формулирует свою программу — проект 1835 года предполагал целый комплекс памятников на местах боев 1812 года. Как отмечает современный исследователь, «ни один царь не сделал в этой области столько, сколько Николай Павлович. Именно при нем в стране сформировалась четкая система монументов, были увековечены наиболее выдающиеся события и лица русской истории. Из необычной диковинки памятник превратился в почитаемую и охраняемую святыню, украшавшую многие русские города и места сражений»<sup>75</sup>.

Чуткость императора изобличает и воля к передвижке памятников. Место красит памятник: помещение в центр уже сформированного пространства повышает статус памятника, делает его если не понятнее, то значительнее: постепенно отсчет пространства начинается вестись от него. Памятники маркировали пространство идеалов и городов: дабы нивелировать их постоянное присутствие в идеальном (идейном) поле, власть задвигала некоторые из них в реальном пространстве. Место для публичных памятников писателям, определенное императором, всякий раз одинаково отличалось от предложенного локальной инициативой: оно было менее «общественным» — более удаленным от центра и многолюдства.

Общественная активность вызывала подозрения. Социальный состав инициаторов был весьма определенным. Попытки расширить

<sup>74</sup> Подробнее см.: Высокочков Л. В. Монументальная пропаганда при императоре Николае I // Мавродинские чтения: Сб. статей. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2002. С. 162—168. Автор приходит к выводу, что «именно в царствование императора Николая I в обществе формируется новое восприятие памятников по истории Отечества».

<sup>75</sup> Сокол К. Г. Монументальные памятники Российской империи: Каталог. М.: Вагриус Плюс, 2006. С. 7.

воспринимающую аудиторию оказывались несостоятельными. Это была инициатива просвещенного сословия, знакомого с западным опытом и стремящегося использовать его в России. Понятно, почему это саботировал хорошо знакомый с европейской жизнью Уваров: за подобной практикой стоял европейский опыт ценностей гражданского общества, с трудом, надо сказать, воспроизводимый в неграмотной России. Так что наступивший перерыв в начавшей было формироваться практике не был, похоже, случайным. «Консервирующие» действия власти имели своеобразный побочный эффект: за счет этого практика не превращается в бытовую, не снижается. А позднейшее осознание того, что реализация проектов шла как бы вопреки властным намерениям, приводит к формированию (во всяком случае, с Державиным) фантомной памяти, приписывающей давнему событию большее значение, чем оно имело в момент своего свершения.

Памятник Пушкину уже иная история, в более широком контексте связанная с новой социальной ситуацией пореформенной России, в более узком — с наличием смежного опыта увековечивания имени и проведения юбилеев, давшего новые возможности оформления словесного мифа.

Вспоминая о давнем пушкинском празднике (и совмещая его с событиями 1887 года, когда начались массовые издания Пушкина), Лев Толстой в 1898 году в статье «Что такое искусство?» использует пушкинский праздник как главный пример неприемлемой для себя системы ценностей и соответственно такой конструкции прошлого, в которой этому событию приписывалось значение торжества народного самосознания. Каждый искал свои святыни. Толстой пишет о недоумении крестьян по поводу того, «почему так возвеличили Пушкина?». «В самом деле, надо только представить себе положение такого человека из народа, когда он по доходящим до него газетам и слухам узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России — Пушкину, про которого он до сих пор ничего не слышал. Со всех сторон он читает и слышит об этом и полагает, что если воздаются такие почести человеку, то вероятно человек этот сделал что-нибудь необыкновенное, или сильное, или доброе. Он старается узнать, кто был Пушкин, и узнав, что Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель, он

делает заключение о том, что Пушкин должен был быть святой человек и учитель добра, и торопится прочесть или услышать его жизнь и сочинения. Но каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т.е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные»<sup>76</sup>.

Для Толстого очевидно, что сочинения Пушкина понятны только узкому кругу европеизированных русских, это и был их праздник, они претендуют на то, что они-то и есть общество. Таким образом, просвещенная часть населения предлагала свой вариант прошлого, в том числе и через визуализацию его.

Значим ли был сам визуальный образ? Вероятно, да, трудно сказать — в какой степени. Безусловно значимым оказывался не столько сам памятник, сколько его словесная и ритуальная поддержка, творящая миф. Миф и выводит его в поле общественной памяти — он становится символом мифа, напоминает о нем. Видимый образ прежде всего не должен противоречить ему.

Левит утверждает, что самым долговечным наследием Пушкинских торжеств было новое представление о русской национальной идентичности, которая с тех пор оказалась тесно связанной с именем Пушкина. Пушкин, а с ним и другие классики русской литературы XIX в. принесли с собой новую, светскую, «культурную, а не политическую или религиозную национальную идентичность, независимую как от царя, так и от церкви — традиционных оснований, на которых формировались представления русских о самих себе»<sup>77</sup>. Хотелось бы переакцентировать: сформировавшаяся к этому времени новая идентичность визуализировалась в такой форме (постольку поскольку такая возможность предоставлялась современной культурой). Этот праздник национальной идентичности произошел не сразу. Он начинал готовиться еще в 20-х годах XIX века, когда в Архангельске был поставлен памятник Ломоносову. Для идентичности искали знак. С одной стороны, нематериальные символы доступны лишь немногим, с другой — памятник без стоящих за ним ценностей

<sup>76</sup> Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М.-Л.: Гос. изд. худож. лит., 1951. Т. 30. С. 170–171.

<sup>77</sup> Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917. Princeton., 1985. P. 317. Цит. по: Левит Маркус Ч. Указ. соч. С. 25.

оказывался мертвым. Но через памятник ценности являли себя, они приписывались ему и усваивались окружающими в процессе открытия: открытие оказывалось инициальным актом, превращавшим факт в событие.

Что не получалось в первых трех случаях? Вынести событие за пределы места и времени, придать ему масштабность. Не получалось и потому, что не сразу осознали приоритетность этой задачи, и потому, что процесс саботировала власть. В случае пушкинского памятника миф предшествовал событию. Результаты такой последовательности были ошеломляющими. «Я имею основание думать, что он (праздник — С.Е.) устроился сам собою, а вовсе не благодаря распорядителям. Его устроило одушевление, разом охватившее всех... В течение нескольких дней сотни тысяч народа перебивали у памятника и стояли около него толпами. Народ, конечно, недоумевал, за что такая честь штатскому человеку. Многие крестились на статую. Спустя две недели, кажется, установилось мнение, что человек этот “что-то пописывал, но памятник ему за то поставлен, что он крестьян освободил”. По крайней мере я слышал это от многих простых людей и, разумеется, не разуверял! Да, никто не ожидал, что так выйдет! Думали, что выйдет по старым образцам, что будет маленькое торжество, которому официальные лица придадут некоторую импозантность. А вышел “на нашей улице праздник”...»<sup>78</sup> Свидетельства некоторого ошеломления тем, что получилось, приводятся во многих газетах. Итоговая формула звучала так: «осмыслившее себя общественное мнение», т.е. перед лицом этого памятника (впав в экстатическое состояние во время открытия) Россия поняла себя.

В контексте всеобщего воодушевления большую значимость приписывали вполне тривиальным событиям. Так было с энтузиазмом вокруг прозвучавшего на пушкинском празднике предложении о сооружении памятника Гоголю. Собрали 4 тыс. рублей! Сумма на самом деле вовсе не впечатляющая: в Архангельске в 1825 году (когда памятников писателям еще и в помине не было) в первые дни на памятник Ломоносову было собрано 3 тыс., в Симбирске в 1833 году в первые два дня по оглашению инициативы было собрано 6 тыс. На одном литературном обеде 21 июля 1833 года в Петербурге на памят-

<sup>78</sup> *Незнакомец* [Суворин А. С.]. Недельные очерки и картинки // Новое время. 1880. 29 июня (11 июля). № 1556. С. 2.

ник Карамзину было собрано 4525 рублей (25 из них дал А. С. Пушкин). Но теперь техническому моменту приписывалось символическое значение.

Для понимания культурных механизмов коллективной памяти пушкинская история, однако, ключевая: до 1880 года существует не практика, а возможность практики монументальной коммеморации. Пушкинский праздник выявил необходимые и достаточные условия ее эффективной реализации.

Лев Толстой не хочет замечать, что Пушкин стал предписанным местом памяти и инструментом европеизации народа — он стал частью обязательного прошлого; именно этим можно объяснить ажиотаж в книжных магазинах в 1887 году, когда истек 50-летний срок авторского права и в газетах появились описания драк за разрекламированное дешевое издание Пушкина. «Этот день останется в летописях нашей книжной торговли. Такого дня не было еще никогда. Великий народный русский поэт сделался общим достоянием, /.../ книжный магазин “Нового времени” сегодня подвергся решительной осаде ...» К полудню запас из 6 тыс. книг был распродан, магазин закрылся. «Несмотря на разгром и беспорядок, эта жажда публики иметь великого писателя — явление знаменательное, выходящее из ряда вон и приносящее большую честь здравому смыслу русской публики и ее любви к родной литературе»<sup>79</sup>.

К здравому смыслу и любви это имело опосредованное отношение — покупали имя, которое должно было быть дорого каждому. Современникам могло казаться, что «этот день принес Пушкину славы больше, чем все возведенные ему памятники», но, с другой точки зрения это была цепная реакция, запуск которой осуществило открытие памятника в Москве.

Массовое празднование столетия Пушкина в 1899 году было проведено государством с использованием уже наработанных практик, в том числе переименования улиц, открытия именных библиотек и школ, назначения стипендий и премий. Имя Пушкина стало священным. В 1913 году Московской городской Думой большинством 45 против 4 голосов было принято постановление о назначении Марии Львовне Нейкирх, племяннице поэта А. С. Пушкина, пожизнен-

<sup>79</sup> 30-е января в книжном магазине «Нового времени» // Новое время. 1887. 31 янв. № 3924. С. 2.

ного пособия из городских средств в размере 600 рублей в год, то есть городские власти платили пенсию только за то, что Мария Львовна была родственницей символа национальной идентичности!

С конца XIX века процесс открытия памятников активно шел по всей стране. Скульптурные монументы стали естественной частью культурной памяти России.

Остановить этот процесс смогла Первая мировая война. Дело не только в том, что, когда говорят пушки, музы молчат, но и в том, что в данном случае пушки и музы нуждаются в одном и том же дорогостоящем материале<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> «Берлин, 29 июля. Чрезвычайная нужда в металлах, которую испытывает Германия теперь, побудила технический отдел генерального штаба дать распоряжение, чтобы все металлические памятники в Шарлоттенбурге были сняты и переданы металлургическим заводам для употребления находящегося в них металла в военных целях. В Шарлоттенбурге, как известно, находится очень много металлических, главным образом бронзовых, памятников. Только бронзовая группа «Принц Альбрехт» перед замком Гогенцоллернов остается нетронутой, так как только за этой группой признается исторически-художественная ценность» (Памятники — на пушки // Правда. 1918. № 167. 9 авг.).

## Препринты ИГИТИ Государственного университета — Высшей школы экономики

### Серия WP6 «Гуманитарные исследования»

1. Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории. Препринт WP6/2003/01. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

2. Дубин Б.В. Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. Препринт WP6/2003/02. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

3. Руткевич А.М. Психоаналитическое учение о символе и интерпретации. Препринт WP6/2003/03. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

4. Андреев М.Л. Второе рождение нормативной поэтики. Препринт WP6/2003/04. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

5. Самутина Н.В. Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). Препринт WP6/2003/05. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

6. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и интуиция: наследие романтиков. Препринт WP6/2003/06. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

7. Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2003.

8. Никс Н.Н. «Велик и благороден труд профессора» (Жизнь и деятельность московской профессуры второй половины XIX — начала XX вв.). Препринт WP6/2004/01. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2004.

9. Юревич А.В. Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социальному контексту. Препринт WP6/2004/02. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2004.

10. Андреев М.Л. Формы прошлого в классической европейской литературе. Препринт WP6/2004/03. М.: Государственный университет — Высшая школа экономики, 2004.



11. Фрумкина Р.М. Психоллингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2004.

12. Филиппов А.Ф. Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2004.

13. Руткевич А.М. Психоанализ и доктрина «исторической памяти». Препринт WP6/2004/06. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2004.

14. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования. Препринт WP6/2004/07. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2004.

15. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социальные представления о прошлом: источники и репрезентации. Препринт WP6/2005/01. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики.

16. Капелюшников Р.И. Деконструируя Полањи (заметки на полях «Великой трансформации»). Препринт WP6/2005/02. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2005.

17. Ерусалимский К.Ю. История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI века. Препринт WP6/2005/03. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2005.

18. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и социальные науки. Препринт WP6/2005/04. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2005.

19. Зарецкий Ю.П. История европейского индивида: от Мишле и Буркхардта до Фуко и Гринблатта. Препринт WP6/2005/05. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2005.

20. Фрумкина Р.М. Культурно-историческая психология Выготского – Лурия. Препринт WP6/2006/01. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

21. Полетаев А.В. Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединенными Штатами, 1960–2004 гг. Препринт WP6/2006/02. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

22. Руткевич А.М. Прошлое историка. Препринт WP6/2006/03. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

23. Савельева И.М., Полетаев А.В. Знают ли американцы историю? Ч. 1. Препринт WP6/2006/04. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

24. Вахштайн В.С. «Неудобная классика» социологии XX века: творческое наследие Ирвинга Гофмана. Препринт WP6/2006/05. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

25. Савельева И.М., Полетаев А.П. Знают ли американцы историю? Ч. 2. Препринт WP6/2006/06. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

26. Зарецкий Ю.П. Зачем писать это? (Послание римского папы турецкому султану). Препринт WP6/2006/07. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2006.

27. Самутина Н.В. Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском кино. Препринт WP6/2007/01. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2007.

28. Руткевич А.М. Времена идеологов: Философия истории «консервативной революции». Препринт WP6/2007/02. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2007.

29. Юревич А.В. Психология революций. Препринт WP6/2007/03. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2007.

30. Каменский А.Б. Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII в.: исследовательские проблемы. Препринт WP6/2007/04. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2007.

31. Самутина Н.В. «Cult Camp Classics»: специфика нормативности и стратегии зрительского восприятия в кинематографе. Препринт WP6/2008/01. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008.

32. Свешников А.В., Степанов Б.Е. Исторические альманахи «Одиссей», «Казус», «Диалог со временем»: поиски моделей научной коммуникации. Препринт WP6/2008/02. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008.

33. Андреев М.Л. Никколо Макьявелли в культуре Возрождения. Препринт WP6/2008/03. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008.

34. Вишленкова Е.А. Визуальная антропология империи, или «увидеть русского дано не каждому». Препринт WP6/2008/04. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008.

35. Полетаев А.В. Присутствие и отсутствие России в мировой экономической науке. Препринт WP6/2008/05. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008.

36. Репина Л.П. Новые исследовательские стратегии в российской и мировой историографии. Препринт WP6/2008/06. М.: Государственный университет – Высшая школа экономики, 2008.

37. Полетаев А.В. Общественные и гуманитарные науки в России в 1998–2007 гг.: количественные характеристики. Препринт WP6/2008/07. М.: Изд. дом. Государственного университета – Высшей школы экономики, 2008.

38. Репина Л.П. Идея всеобщей истории в России: от классики к неоклассике. Препринт WP6/2009/01. М.: Изд. дом. Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009.

39. Савельева И.М., Полетаев А.В. Публикации российских авторов в зарубежных журналах по общественным и гуманитарным дисциплинам в 1993–2008 гг.: количественные показатели и качественные характеристики. Препринт WP6/2009/02. М.: Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009.

40. Вишленкова Е.А. Сокровищница русской живописи: история создания (1780–1820-е годы). Препринт WP6/2009/03. М.: Изд. дом Государственного университета – Высшей школы экономики, 2009.

*Препринт WP6/2009/04  
Серия WP6  
Гуманитарные исследования*

Еремеева С.

**Бронзовый век российской словесности:  
памятники писателям в рамках практики  
монументальной коммеморации**

Зав. редакцией оперативного выпуска *А.В. Заиченко*  
Корректор *Ф.Н. Морозова*  
Технический редактор *Ю.Н. Петрина*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.  
Отпечатано в типографии Государственного университета –  
Высшей школы экономики с представленного оригинал-макета.  
Формат 60×84 1/16. Бумага офсетная. Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 3,05  
Усл. печ. л. 3,02. Заказ № . Изд. № 1110.

Государственный университет – Высшая школа экономики.  
125319, Москва, Кочновский проезд, 3  
Типография Государственного университета – Высшей школы экономики  
125319, Москва, Кочновский проезд, 3  
Тел.: (495) 772-95-71; 772-95-73

Для заметок

---

---